This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

STANFORD UNIVERSITY
LIBRARIES

This is an autho ized [illegible] of the or
and was produce [illegible] microfilm
by Univer [illegible] s Interna
Ann Arbor [illegible] an, U.S.A.
L [illegible] gland

ПОВѢСТИ

И

ПРОЗАИЧЕСКІЕ ОТРЫВКИ,

ОСТАВШІЕСЯ

ПОСЛѢ СМЕРТИ АВТОРА.

V. 12.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

ТИПОГРАФІЯ III. ОТДѢЛЕНІЯ СОБСТВЕННОЙ И. В. И. КАНЦЕЛЯРІИ.

1839.

PG3321
.345
1838
v.2

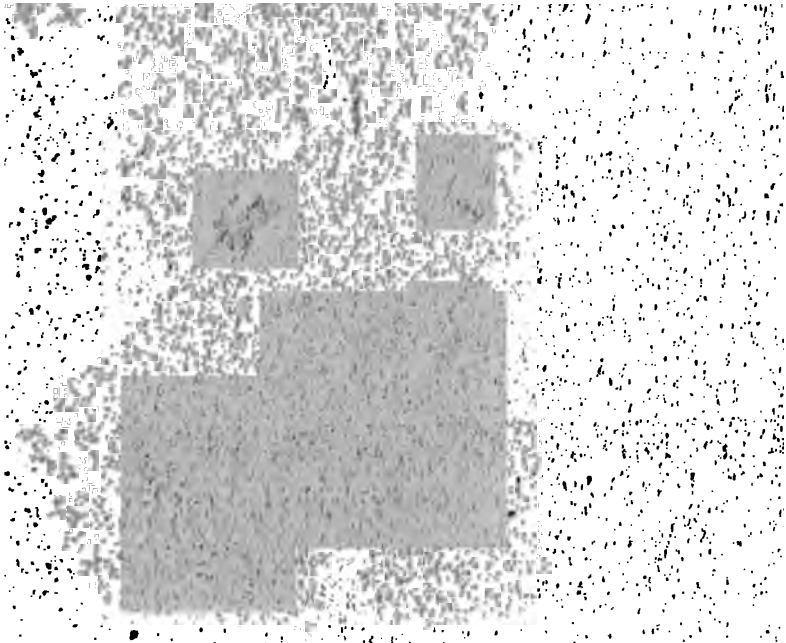
PG3321
.B45
1838

Ф 48348
Х 718671
7785-1
Z e
21196
67

ПОЛНОЕ

СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

А. Марлинскаго.



ПОЛНОЕ

СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

А. Марлинскаго.

ЧАСТЬ XII.

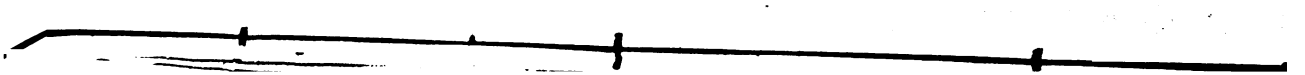
ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ,

съ тѣмъ, чтобы по напечатаніи представлено было въ Цензурный Комитетъ узаконенное число экземпляровъ.

Санктпетербургъ, 3 Генваря 1839 года.

Цензоръ *А. Никитенко.*

ИСТОРІЯ О ЧЕРНАГО РУБЛЯ.



ИСТОРІЯ СЕРЕБРЯНАГО РУБЛЯ.

Я, милостивые государи! весьма похожъ на людей, которые въ модѣ: столь же мало стою, какъ и они; какъ и они имѣю блестящую наружность. Подобно имъ я пробѣгаю свѣтъ, и вездѣ меня ищутъ, вездѣ принимаютъ. Часто мѣняю я господъ своихъ, служа попеременно: прихотямъ и нуждамъ, порокамъ и добродѣтелямъ, словомъ я исполнитель всѣхъ страстей и желаній, самыя сокровенныя, фамильныя тайны мнѣ извѣстны, но не бойтесь ничего, г-жи, г-да — для чести нашего вѣка, я не назову никого по имени.

Вступленіе мое въ свѣтъ послѣдовало съ мопетнаго двора прямо къ безкорыстному судьѣ, который препроводилъ меня со многими изъ моихъ товарищей, къ одной прелюбезной женщинѣ, у коей мужъ былъ въ отлучкѣ. Онъ

считалъ ее честнѣйшею въ мірѣ... бѣдный! — у нея было два лица и двѣ комнаты. По утру въ черномъ чепчикѣ, въ темномъ платьѣ, она играла роль богомолки; ввечеру въ розовомъ капотѣ читала лекціи кокетства. Я соскучился, и она скоро отдала меня за рядникюль къ извѣстной модной торговкѣ, считавшейся оракуломъ всѣхъ щеголихъ. Къ ней ѣздили на поклонъ болѣе, нежели къ какому нибудь прокурору. Впрочемъ это и не удивительно: она раздавала нужнѣйшія милости. Старики подноляли тамъ свои зубы и волосы; а шестидесятилѣтнія старухи получали *по сходной цѣнѣ* лица молоденькихъ дѣвушекъ.

Распрысканный духами франтъ принесъ къ ней послѣдній имперіалъ свой на обмѣнъ семилеровой цѣпочки, и я переселился въ числѣ сдаточныхъ въ карманъ разсѣяннаго молодчика, какимъ онъ быть притворялся, ибо часто сѣвши на дрожки, спрашивалъ: сѣлъ ли я? Онъ увѣрялъ однажды, что ему достается наслѣдство; но только онъ позабылъ кто умеръ, отецъ, или мать. По богатой ливреѣ я заключилъ, что не буду скучать на одинѣ; но увы! — онъ жилъ въ блестящей бѣдности, часто жилеты выкупались фраками, и кредитъ нашъ былъ въ злой чахоткѣ. Къ счастію одинъ старый другъ пришелъ ему десять

тысячъ рублей, за вексель, данный въ пятидесяти, совсѣмъ тѣмъ этотъ оборотъ былъ не выгоденъ одному заимодавцу, и мы отправились путешествовать. Таскались цѣлые два года изъ земли въ землю, бѣгали скуки и возили ее съ собою. Онъ восклицалъ: — скучные люди! грязные города! Нигдѣ я не находилъ денегъ лучше рускихъ.

Мы возвратились назадъ — и я остался по прежнему одинъ. Угощая пуншемъ своего музыкальнаго учителя, который за всѣ свои гаммы и бемоли не получилъ отъ него ни копѣйки, онъ разстался со мной, и я слетѣлъ въ сборной ящикъ въ конфектной лавкѣ. Тамъ то наслушался я всякаго политическаго вздору отъ тунеядцевъ, которые часто кочуютъ на улицахъ, а хотятъ править свѣтомъ, или научать королей.

Длинная, сухощавая особа, на которой фракъ, скроенный еще во времена Юлія Цезаря, кажется, опаленъ былъ молніею, вздыхая размѣнивала 25 рублевую ассигнацію на мѣлочь, звѣня и взвѣшивая каждую, чтобъ не взять фальшивой. Попавшись къ сему человѣку, я худо подумалъ объ его нравственности — и не обманулся. Онъ несмотря на свою готическую фигуру, былъ скупъ, какъ Гарпагонъ. Напримѣръ каждое утро онъ посѣ-

щалъ хозяйскую кухню будто для того, чтобъ грѣться; но коль скоро поваръ отворачивался, скупецъ проворно совалъ бульонъ сквозь соломенку, спрятанную въ рукавѣ, и потомъ возвращался къ себѣ варить гнилую зелень. Всегда онъ вставалъ двумя часами ранѣе своего слуги, чтобъ надѣть сапоги его и въ нихъ обѣгать весь городъ. Заключенный въ желѣзномъ ларцѣ, я уже отчаивался увидѣть лучи солнечные; но плутовство помогло моему избавленію. Воръ похитилъ меня съ двадцатью тысячами товарищей моей неволи. Я былъ внѣ себя отъ радости, и скоро услышалъ, что скупецъ, жалѣя истратить деньги на поимку вора, осудилъ себя на строгую діету и умеръ отъ неваренія желудка. Воръ былъ пойманъ; и я по праву гражданскому попалея въ руки полицейскаго. Онъ часто разсматривалъ меня, подозрѣвая въ поддѣлкѣ, между тѣмъ какъ настоящія фальшивыя монеты лежали спокойно въ его сундукѣ. Такъ-то и въ свѣтѣ: честныхъ подозрѣваютъ, а бездѣльники пользуются первѣйшею всеобщимъ довѣріемъ!

Послѣ многихъ пробныхъ прыжковъ перешелъ я отъ него въ руки кирасира, который недавно на дуэли такъ плотно прилѣпилъ своего противника къ стѣнѣ, что его можно было счесть живописью аль-фреско. — Чортъ меня

вовьи! вскричалъ онъ, дружески трепля меня: хотя фамилія наша древнѣе самаго Адама, однакожъ они рѣдко видали у себя друзей такого калибра. Правду сказать, таланты и баронство стоютъ денегъ!

Желая умножить образъ мой, онъ волочилъ меня по всѣмъ тузамъ и дамамъ, въ банкъ и штосъ. Сколько разврата, плутовства и обмановъ увидѣлъ я тамъ!! Переходъ отъ надежды къ отчаянію, отъ радости опять къ скукѣ; то проклинаемый, то лобзаемый попеременно, я скитался по сторонамъ стола, или украшалъ середину. Въ это время я былъ похожъ на калмыцкихъ идоловъ, коихъ бьютъ, или обожаютъ, смотря по обстоятельствамъ.

Переходя изъ приключенія въ приключеніе, потерялся я въ лѣтнемъ саду, гдѣ собраны были: музы и фуріи, Вулканы и Нарциссы. Раздушенный петиметръ, съ очками на глазахъ, благодаря коимъ онъ видѣлъ очень худо, по которымъ носилъ для того, что одни невѣжды тогда смотрѣли собственными глазами — проглядѣлъ меня. Гордый дуракъ и видѣлъ, но не хотѣлъ поднять. Онъ былъ за то наказанъ. На другой день его взяли на казенное иждивеніе въ тюрьму, гдѣ бы онъ могъ два раза пообѣдать на мой счетъ. Надежда на друзей его обманула. Всѣ моты, подумалъ

я, также какъ птицы имѣютъ время когда линять.

Потомъ судьба бросила меня къ растовщику, право не припомню какимъ образомъ. Казалось, что я опять попался къ вору. Каждый часъ возвышалась цѣна моя: невѣрные супруги платили ему сто на сто, для того чтобъ содержать актрисъ столь же роскошно, сколько нуждались добродѣтельныя ихъ жены.

Скоро перешелъ я къ одному ханжѣ, который утѣшалъ бѣдныхъ и не давалъ имъ ни полушки. Кошелекъ его былъ набитъ деньгами, выпрошенными для нищихъ. Сей лицемѣръ отправился на тотъ свѣтъ, не сдѣлавши добра никому. Расточительный племянникъ въ нѣсколько мѣсяцевъ процѣдилъ не добромъ нажитое имѣніе. По обыкновенію онъ содержалъ танцовщицу. Промотавши все, онъ пѣлъ съ ней дуо аріи изъ Жоконда. Векселя, росписки дождили на него, онъ не унывалъ. — Дуракъ отчаявается, умной веселится, говорилъ онъ. У меня нѣтъ денегъ, за то есть кредитъ. Въ самомъ дѣлѣ танцовальная богиня была чудомъ его воскресенія; онъ снова заблисталъ какъ радуга — на такое же короткое время.

Во всѣхъ моихъ путешествіяхъ я не видалъ ничего подобнаго моей владычицѣ, къ коей

не надолго я переселился. Каждое утро она столько же долго проводитъ время за туалетомъ разума, какъ и за уборомъ лица. Она столь чувствительна, что при видѣ бабочки, пойманной за крылья, падаетъ въ обморокъ. Болѣе всего боялась она открытія въ любви, и нечаянной смерти. Каждый день недѣли имѣлъ свою особенную болѣзнь: суббота назначалась для мигрени. Одна горничная была согнана ею со двора за то, что забыла напомнить объ немъ барынѣ, и приходящіе поздравили ее съ добрымъ здоровьемъ. Нравъ и наречіе ея были столь пестры, какъ и ея платье. Она обѣдала въ миніатюрѣ, а ужинала не долѣе 5 минутъ.

Отъ нея — какая перемѣна! я вскарабкался въ пятый этажъ къ одному автору, который сочинялъ для дневнаго пропитанія. Слава не всегда дружна съ серебромъ, и мы принуждены были разстаться. Бѣдный поэтъ! Ты живешь въ недостаткѣ, между тѣмъ какъ умы злые, люди праздные расточаютъ даромъ свои богатства! Правду сказать, ты самъ виноватъ: еслибъ у тебя было побольше метафоръ, побольше восклицаній и восторговъ, непонятныхъ выраженій и странныхъ картинъ, публика полюбила бы тебя. Но писать просто въ нашъ вѣкъ — о это непростительно!

Я разлучился съ поэтомъ и съ сей минуты вѣтренность меня оставила. Я достался въ удѣлъ знатной барынѣ, состарѣвшейся отъ этикета и скуки. Безъ титуловъ, безъ шифровъ, удаленная отъ двора, она забавлялась своею кошкою, которая одна имѣла честь быть съ ней на короткой ногѣ. Счастливыми должны были считать ея посѣтители, когда кошка била ихъ своею лапкою, или удостоивала царапаньемъ. Она говорила безъ умолку, и говорила всегда пустяки. Все обѣщала и ничего не исполняла. Назначала пріемные дни, не имѣя ни какихъ дѣлъ, и всѣ эти церемоніи считала пышностію. Я вырвался отъ нея, напрысканный духами, но уже потерявши многое изъ своего вѣсу: ибо одинъ честный Еврей вадумалъ меня выкупать въ крѣпкой водкѣ, для опрятности. Не сдѣлавшись лучше, но ставши опытнѣе, я возвратился въ казну Государеву, изъ коей извлекли меня для вспоможенія несчастному семейству. Тамъ только нашелъ я добродѣтель и безпорочность. Теперь перешелъ я въ деревню, гдѣ не столько уважаютъ, сколько цѣнятъ меня — теперь я служу возмездіемъ трудовъ, а прежде былъ наградою порока. Счастливъ буду, когда удовольствіе сіе продлится долгое время.

1820 года.

ИСТОРІЯ ЗНАКОВЪ ПРЕПИНАНІЯ.

Говорятъ, будто любви пастушеской одолжены мы изобрѣтеніемъ живописи, а я узналъ, что и строчные знаки тому же чувству обязаны своимъ существованіемъ; послушайте! Давно, очень давно въ какой-то землѣ властвовала безъименная царица: это не диво; — но у нея цвѣла красотою дочь на диво цѣлому свѣту, на бѣду всѣмъ воздыхателямъ. Молодая царевна была прекрасна и песела, мать ея строга и брюзглива — сколько причинъ быть обманутыми: одной самолюбіемъ, другой недовѣрчивостію! Это и случилось.

При дворѣ царскомъ вертѣлся тогда какой-то инкогнито путешествующій князь, именемъ

Препинани. Его считали великимъ остроумцемъ, потому что каждое слово онъ сопровождалъ двусмысленною улыбкою, и никогда не договаривалъ рѣчи, давая разумѣть о томъ, чего самъ не думалъ. Придворные называли его проницательнымъ, дѣвушки красавцемъ, — тѣ и другія ошибались, но это не помѣшало круженію головы молодой царевны, и она нашла его милымъ.

Ей уже пробило осьмнадцать; сердце шептало: пора любить; зеркало сказывало, что она будетъ любима, а пріятные сны, получаемые дѣвушками ея возраста въ награду безсонницы, часто представляли красавицѣ нашей князя Препинани. Она краснѣла отъ одной мысли о любви и уже любила краснѣть отъ сей мысли. И въ самомъ дѣлѣ: можно ли было не полюбить ей человѣка, которому она дивилась, потому что его не понимала.

— Прелестная царевна, сказалъ однажды Препинани робкой красавицѣ, ваши взоры . . . .

— Князь, отвѣчала она, вы говорите всегда такъ умно, я всегда слушаю васъ такъ охотно! Потому, потому . . .

— Я въ восхищеніи, воскликнулъ Препи-

нами, бросясь на колѣни. Позвольте мнѣ поцѣловать вашу ручку, но . . .

— Перестаньте, возразила прерывающимся голосомъ царевна: сердце мое давно принадлежитъ вамъ, однако . . .

Потомъ князь дурачился, какъ всѣ любовники; потомъ царевна сердилась, какъ всѣ женщины; а прочее можете вы дочитать въ любомъ романѣ.

Чрезъ четверть часа, высказавъ все другъ другу, царевна отъ нечего дѣлать, взяла карандашъ и провела нѣсколько черточекъ.

— Что вы дѣлаете? спросилъ съ нѣжностію Препинани.

— Занимаюсь нашею любовью, отвѣчала царевна; посмотрите на этотъ знакъ (?), онъ будетъ изъяснять: любезный князь, любите ли вы меня?

— Люблю ли я васъ? о боги!! произнесъ Препинани.

Такой отвѣтъ, подхватила она, раздѣлится на двое; первая часть т. е. люблю ли я васъ означится (') «запятою», а вторая т. е. о боги! (!) «знакомъ восклицанія». (:) «Двѣ точки», одна надъ другою поставленныя, будутъ сигналомъ того, что мы имѣемъ нѣчто сказать другъ другу; такимъ непонятнымъ для всѣхъ средствомъ можемъ мы безопасно объясняться.

— Какъ это умно! повторилъ раза четыре Препинанн.

— Послушайте, милый князь, продолжала царевна, условимся подробнѣе о знакахъ. (;) «Точка съ запятой», на примѣръ, будетъ у насъ признакомъ какаго нибудь препятствія къ свиданію; (-) «черточка или тире,» отсрочка онаго до благопріятнѣйшаго времени. Если же нашъ случится упрекать другъ друга (ибо нѣжная любовь всегда имѣетъ въ запасѣ такое средство), то упреки свои изобразимъ мы (!) «острымъ удареніемъ»; примиреніе (') мягкимъ; печальное слово прощай, (˘) краткою чертою, а уединенное свиданіе ( ) скобками представляющими отдѣленность отъ другихъ.

. . . . . .

Вотъ какимъ образомъ Препинанн и царевна умѣли обмануть прозорливость матери и самихъ придворныхъ.

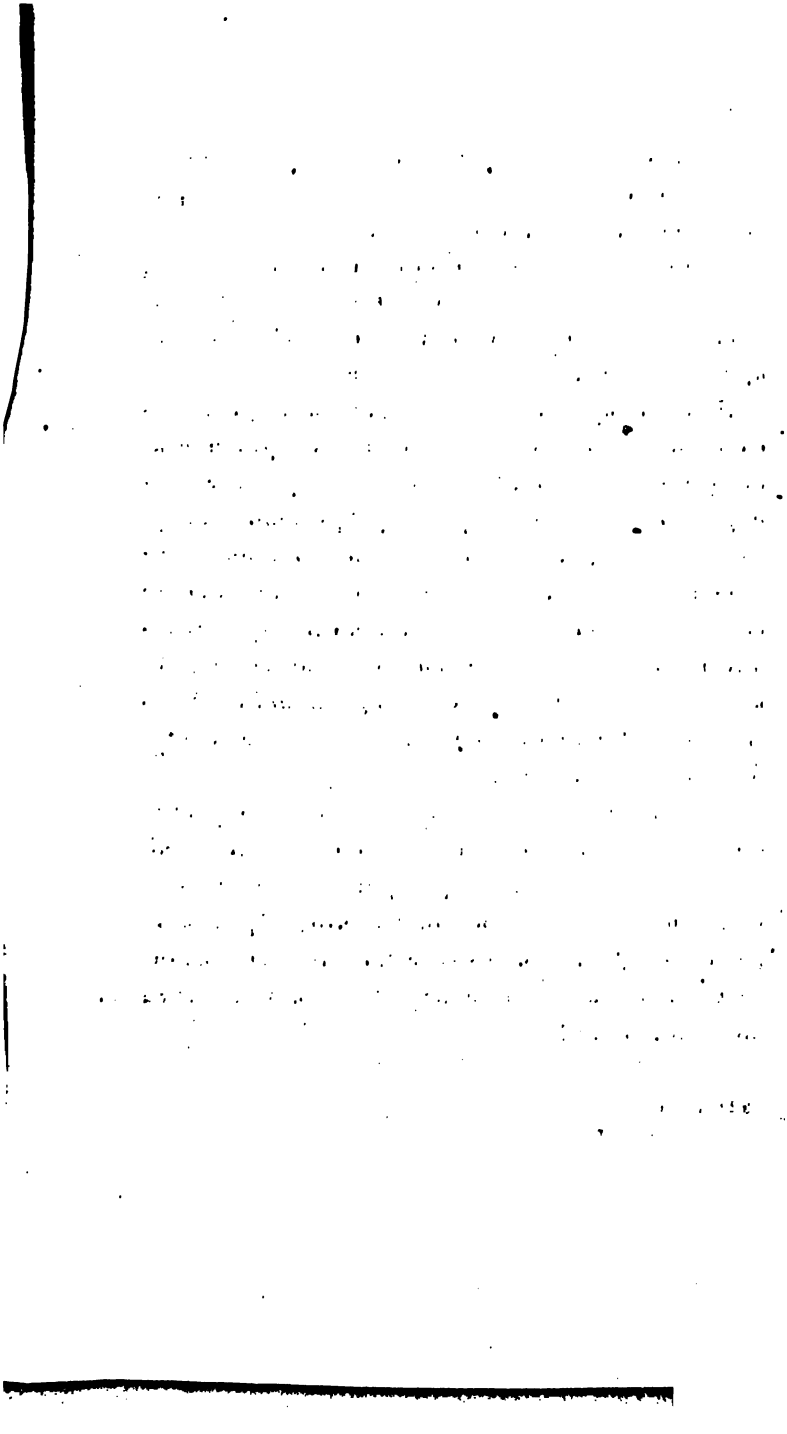
Между тѣмъ время, которое не останавливается на запятыхъ желаній нашихъ, текло и унесло страсть Препинани. Новый Эней бросилъ новую Дидону и уѣхалъ невѣдомо куда. Бѣдная царевна вздыхала и горевала. Исторія умалчиваетъ, умѣла ли она писать, но говоритъ, что умѣла любить и любить вѣрно — глупость, которую она скрѣпила другою, сошедшею съ ума. Въ воспаленномъ воображеніи ей

жечатались одне кавыки и знаки восклицанія, напоминавшіе минуты благополучія. Придворные писатели, сперва изъ лести, а потомъ по привычкѣ украшали строки свои знаками, любезными для царевны. Отъ нихъ заразились этой болѣзнію и всѣ свѣтскіе поэты, крючкотворцы, журналисты и прозаики.

Имя невѣрнаго не выходило изъ устъ несчастной царевны — наконецъ смерть поставила точку на концѣ жизненной фразы ея, и царевны не стало. Время разрушило мавзолей несчастной, украшенный всѣми строчными препинаніями, а неблагодарное потомство не сохранило для нихъ даже имени изобрѣтательницы, и строчные знаки назвало въ память князя Препинанія знаками *препинанія*. Такъ Америкъ Веспуцій передалъ имя свое землѣ, Колумбомъ открытой.

Красавицы! — вздохните о моей царевнѣ, прочитавъ въ каждой запятой ея исторію. Что до меня, я такъ растроганъ романическимъ произшествіемъ оной, что обрекаюсь, если когда нибудь буду сочинителемъ, написать въ честь царевны первую книгу знаками восклицанія!!!

1821 года.



ЛИСТОКЪ ИЗЪ ДНЕВНИКА ГВАРДЕЙСКАГО ОФИЦЕРА.

1821 года, 28-го маія, часъ по полудни.

Надобно пройти сорокъ верстъ перьхомъ, промокнуть насквозь отъ дождя, и просушиться на самомъ рѣзкомъ сѣверикѣ, чтобъ судить о пріятности теплой Русской избы. Мокрая бурка развилась по соломѣ и усталый ѣздокъ, повѣсивъ свою саблю и лядунку на стоночку, бросается на эту пышную постелю. Я, лежа, любуюсь прилѣпленными по стѣнамъ лубочными картинками, любуюсь и синимъ озеромъ, которое, приливая, шумитъ подъ отворенныхъ окномъ; но моя сладкая дума стремится *туда*, — *тамъ* на очагѣ, на ржавомъ треножникѣ кипитъ для насъ янтарная уха, вкругъ которой такъ заботливо ухаживаютъ

радушные хозяева. Всюдѣ все свѣтло и чисто: право душа радуется, видя Русской бытъ, замѣчая опрятность и довольство земляковъ своихъ между грязныхъ, дикихъ, зложелающихъ Эстонцевъ. Кажется они гордятся своимъ преимуществомъ предъ сосѣдами и еще болѣе стараются отличить себя порядочнымъ образомъ жизни.

Рыболовы здѣшніе — старинные выходцы и бѣглецы Русскіе, болѣе Новогородцы и Псковичи. Въ вѣрѣ держатся раскола попа Филиппа, почему и называются Филиппонами. Они не курятъ кнастеру, за то не пьютъ и вина; а это причиною ихъ благосостоянія.

— Рѣжь у васъ пашни? спросилъ я у молодаго рыбака, не видя въ окрестности ни одной нивы.

— Мы пашемъ озеро, отвѣчалъ онъ, и кромѣ прибережной полосы земли, у насъ мало выгоновъ. Впрочемъ Богъ до насъ милостивъ; въ водѣ есть рыбки золоточешуйки, — мы за ними лѣто сыты и въ зиму нехолодны.

— Чтожь вы дѣлаете зимою? спросилъ я.

— Ловимъ рыбу на срединѣ озера, гдѣ она больше держится въ морозы. Мы уѣзжаемъ

тула на мѣсяцъ, на полтора и живемъ въ этихъ берестяныхъ домикахъ.

Онъ показалъ мнѣ въ окошко. Я полюбопытствовалъ разсмотрѣть этотъ странствующій домикъ и сошелъ внизъ.

Онъ вышиной въ сажень, шириной въ полторы квадратныхъ сажени; обитъ берестою по жердочкамъ; основа сдѣлана изъ брусьевъ. Печь складываютъ изъ немногихъ кирпичей, и въ этомъ-то дымномъ шатрѣ помѣщается всегда 12 человѣкъ, и вѣроятно, одна работа спасаетъ ихъ отъ заразительныхъ болѣзней.

Въ 7 часовъ вечера.

День вечереетъ. На берегу Пейпуса сижу я на разбитой молніею соснѣ, и вѣтеръ сдуваетъ съ волосъ моихъ крупныя капли недавняго дождя. — Разорванныя тучи то разлетаются по небу, то громадятся на краю небосклона, и вдалекѣ распадаются дождемъ. Пейпусъ бушуетъ: волны длинными рядами катятся на берегъ, и ни души нѣтъ на берегу, ни лодки на озерѣ; кругомъ все пусто и дико, какъ будто и мысль человѣка не залетала сюда. Но смотрите, какъ отрадно сверкнула

мгновенная радуга между облаковъ, нависшихъ надъ мрачною бездною;—отрадно, какъ воспоминанье минувшаго.—Но изчезла радуга . . .

Смотри, какъ буря въ локѣ тучь
Съ багроной молніею зрѣетъ,
Какъ солнца одинокій лучъ
Прокравшись, въ озерѣ блѣдиѣетъ:
Какъ грозно, подъ завѣсой мглы,
Сѣдые плещутся валы.
И вотъ низверглся ливень градной,
И быстрый вихорь, листъ полей
Крутя, тумитъ, зпучитъ отрадно
Для жаждущей души моей.
Мнѣ ужасы природы милы:
На ладъ стихій и бури вой,
И лишь тогда, разправивъ крылы,
По свѣту рѣетъ геній мой.
Онъ любитъ съ пламенной мечтой
Въ туманѣ древности носиться,
И вотъ она, покинувъ тлѣнъ,
Былою жизнью оживится,
И испять течетъ рѣка временъ,
И снова край отчизны зрится
Богатырями населенъ.
И озеро съ природой въ боѣ,
Мнѣ кажетъ поле боевое.
Въ жужжаньѣ вѣтра слышу я,
Свистъ стрѣлъ, ломленіе копья,
Булата звонкое крушенье
И ратныхъ кликъ и битвы громъ,
И вновь въ ударѣ роковомъ,
Коней и всадниковъ паденье.

О Пейпусъ, Пейпусъ! сколько разъ смывало ты съ береговъ своихъ кровь Германскую и Русскую! сколько разъ твои волны и ледяное покрывало твое багрились ею! Псковитяне и Крестоносцы, попеременно какъ враги и друзья то для мѣны, то для разбоя переплывали черезъ влажную границу, и нерѣдко въ зимнюю пору соступалась на озерѣ погоня съ хищниками, и бой рѣшалъ распрю. Какъ теперь бѣлогривые валы катятся, скачутъ и плещутъ на берегъ и съ ревомъ сшибаясь, далеко прыщутъ пѣною, такъ неслись одинъ на другаго враждующіе полки, сшибались и падали ряды храбрыхъ. Дерзость Ордена росла съ его силою, его сила съ изнеможеніемъ Руси. Между тѣмъ, какъ Луна затмѣвала звѣзду славы и счастія нашего отечества, рыцари съ сѣвера вторгались въ его области, жгли поля и жилье, отгоняли стада, губили беззащитныхъ. Но месть выкликала месть — Русскіе не оставались въ долгу и желѣзо не уставало дымиться кровью. Въ 1242 году, Нѣмцы завладѣли Псковомъ; Герой Невскій, соединясь съ братомъ Андреемъ, присланнымъ отъ заботливаго ихъ родителя, незабвеннаго Ярослава, вмѣстѣ съ Новогородцами, съ Низовцами, ударилъ на нихъ, выбилъ изъ Пскова, съ урономъ прогналъ во свояси, и далеко

новоевалъ, вынесъ землю Орденскую. — Магистръ, по прошлогоднему опыту вѣдая, съ кѣмъ вѣдаться должно, поднялся со всѣми епископами, вооружилъ Чудь и Емь, подкрѣпился Норвежцами, (Мурманами) и лишь тогда только двинулъ тяжкую силу свою на разгромъ легкихъ дружинъ князя.

Между тѣмъ Невскій не уходилъ, но возвращался. Послышавъ приближеніе магистра, онъ обратился къ нему на встрѣчу; сошелъ на озеро и устроилъ полки, примкнувъ лѣвымъ крыломъ къ Узменю, близъ Вороньяго камня. Это было въ субботу, 6-го апрѣля. Съ восходомъ солнца оба войска двинулись лицемъ къ лицу, Нѣмцы близились быстро,

Но Александръ оплотомъ силъ
Напоръ врага остановилъ.
И вотъ желѣзною стѣною,
Сомкнулись вновь Германцы къ бою.
Ужасенъ длинныхъ копій рядъ,
Не проразили крѣпость латъ;
Какъ звѣри лютые, ихъ кони
Закованы въ литыя брони.
. . . Россіянъ ужасъ обуялъ;
Въ дружинахъ мертвое молчанье,
И видно въ ратныхъ колебанье.
И страхъ мечи зачаровалъ;
Щиты безмолвны; подъ рукою,
Неотразимая стрѣла,

Съ вѣщуньей смерти, тетивою,
Какъ будто страхомъ замерла.
Но вотъ предъ стихшими полками
Златой кольчугою звѣня,
Нисходитъ Александръ съ коня.
Съ главы слагаетъ шлемъ узорной;
Съ молитвой теплой и покорной
Возводитъ очи къ небесамъ,
И пѣснь воскликнулъ величаву:
Не намъ, о Господи, не намъ,
А Имени Твоему дай славу,
Твоимъ глаголомъ побѣди.
Ужь на конѣ, ужь впереди,
Ужь Русской вождь, въ налетѣ быстромъ,
Какъ вихорь, сгрянулся съ магистромъ;
И Александрово копье,
Сквозь щитъ, сквозь мѣдь пробило все,
Съ плеча скользнувъ, съ петлей сорвало,
Шелома твердое забрало:
Вотъ на лицѣ горитъ печать,
И конь несетъ магистра вспять.
И въ полкъ желѣзный, наши дѣды,
Ворвались съ воплями побѣды
— И дали рыцари хребетъ,
И плѣнъ, и кровь и трупъ ихъ слѣдъ.
И нѣтъ отъ гибели спасенья
Посереди безбрежныхъ льдовъ,
И Александръ, какъ ангелъ мщенья,
Слѣдилъ, разилъ, губилъ враговъ.
— И вешній ледъ подъ ихъ стопою
Неровнымъ бѣгомъ затрещонъ,
Со трескомъ разступился онъ,
И разомъ плещущей волною
Враговъ остатокъ поглощенъ.

Это не вымыселъ. Въ Временникѣ Софійскомъ, лѣтописецъ, писавшій по словамъ самовидца, входитъ еще въ дальнѣйшія подробности, можетъ быть весьма занимательныя для историка и стратегика, но которыя не всегда дружатся съ поэзіею. На примѣръ, онъ разсказываетъ, что Нѣмцы и Чудь прошиблись сквозь полки Русскіе *большою свиньею*, т. е. трехъугольною колонною, извѣстною еще Грекамъ и Римлянамъ и теперь остающеюся у сосѣдей нашихъ, Турковъ; что Нѣмцевъ били и гнали на семь верстъ по льду до Субольическаго озера, что рыцарей погибло 700, и Чуди безчетно, и что взято въ плѣнъ 50 однихъ сановниковъ. Торжественный въѣздъ Александра въ Псковъ заключилъ побѣду. Добычу, какъ въ Римскихъ тріумфахъ, несли воины, плѣнныхъ рыцарей вели пѣшихъ при стременахъ. Гимны священниковъ и восклицанія благодарнаго народа встрѣтили спасителей у градскихъ воротъ, радость всѣхъ была не притворна, и не лесть начертала похвалу герою Александру въ лѣтописяхъ Руси. — Битва иною описанная, извѣстна подъ именемъ *Ледоваго побоища*.

ЛИСТОКЪ ИЗЪ ДНЕВНИКА ГВАРДЕЙСКАГО ОФИЦЕРА.

Городъ Опочка. 12 Іюня, 1821 года.

— — Усталый сидѣлъ я у отвореннаго окна на квартирѣ моей; вечерній вѣтеръ дышалъ свѣжестью; сквозь рѣшетчатый сводъ липъ рисовались главы церквей города; звукъ сторожевой доски пробуждалъ повременно эхо ближняго лѣса и умиралъ сливаясь съ тишиною... Какая-то неизъяснимая, но знакомая грусть втѣснилась въ грудь мою. Одинъ душой, въ сторонѣ дикой, между людьми незнакомыми, которыхъ чувства и образъ мыслей не по мнѣ, наконецъ утрата минувшаго, неизвѣстность будущаго, все это смѣшалось въ одно смутное, тяжелое ощущеніе и налегло на грустное сердце, будто заброшенное на край свѣта. Товарищи мои спали сномъ богатырскимъ, наго-

рѣвшая свѣчка едва бросала дрожащіе лучи изъ радужнаго круга; дремота и мою голову склонила на руку, рука скатилась на столъ; тихо и сладостно засыпалъ я, — вдругъ вошелъ ко мнѣ одинъ изъ нашихъ офицеровъ.

— Александръ, сказалъ онъ: исполни просьбу друга! дай слово быть моимъ товарищемъ. Чтожъ ты такъ проницательно глядишь на меня? На этотъ разъ зову тебя просто въ лѣсъ на волковъ. Слышишь ли какъ они воютъ!.... идемъ!....

— Идемъ, отвѣчалъ я; но ружье мое осталось въ повозкѣ, а она Богъ вѣсть отъ чего до сихъ поръ не бывала; притомъ, посмотри какъ душный туманъ, вздымаясь, свивается въ тучи, и буря скоро грянетъ надъ нами. Не боюсь звѣрей, темнота не пугаетъ меня; но легко можно заблудиться и, вмѣсто мягкой перины, провести ночь на мху болотныхъ русалокъ!

— Все предусмотрѣно, возразилъ мой товарищъ, деревенской мальчикъ идетъ съ нами проводникомъ, а для стрѣльбы — вотъ тебѣ другое ружье мое; погода еще въ раздумьѣ до завтра, а если и польетъ дождикъ, къ нему не привыкать солдатамъ: мы не сахарные. Идемъ!

Я стянулъ зеленую куртку свою патронта-

шемъ, зарядилъ ружье пулею, себѣ кремень. Черезъ полчаса мы уже далеко были въ лѣсу дремучемъ. Малютка шелъ впереди, показывая дорогу, мы безпрестанно спускались съ крутогоровъ или карабкались на нихъ, хватаясь за сухія растѣнія, за узловатые корни сосенъ. Мѣсяцъ, изрѣдка прорѣзывалъ нахмуренныя облака, и длинныя тѣни деревъ пробѣгали за нами. Дикая куропатка съ трескомъ вырвалась изъ гнѣзда своего, и мы, изумленные шумомъ, невольно схватились за ружья.

— Наше путешествіе — славная сцена для чуднаго романа, сказалъ я усѣхавшись товарищу,

— Да, и ночь самая Радклифская, отвѣчалъ онъ: черные коней шестаго эскадрона; не достаетъ только вертепа и разбойниковъ!

— У насъ въ околицѣ много разбойниковъ, подхватилъ мальчикъ, еще недавно зарѣзали они какого-то проѣзжаго господина, даже въ этомъ лѣсу несмирно; говорятъ у нихъ притонъ здѣсь.

Мы засмѣялись разсказу проводника:

— Какой вздоръ ты желешь, сказалъ мальчику товарищъ мой, статься ли, чтобъ разбои не вывелись до сихъ поръ?

— Не смѣйся, баринъ, отвѣчалъ маленькой чичероне, давно было ихъ слыхомъ не слы-

хать, а вотъ какъ солдаты отъ насъ вышли, имъ и стало привольнѣе, то и сказокъ, что грабежъ, да убой.

Въ это мгновеніе я споткнулся; что-то звукнуло и покатилось передо мною... поднимаю, гляжу... мертвая голова въ рукахъ моихъ!— Я вздрогнулъ.

— Тутъ ничего нѣтъ чудеснаго, замѣтилъ товарищъ мой, это голова какого нибудь плѣннаго Француза, здѣсь замерзшаго; ощупай ея мозговые органы, и если ты знатокъ въ Галлевой системѣ черепословія, то можешь узнать, принадлежала ли она мародеру или рыцарю безъ страха и порока, профессору ли головорѣзнаго искусства, или миролюбивому полковому попу.

Мы продолжали путь свой; лѣсъ густѣлъ, мракъ умножался, нетерпѣніе возрастало съ каждымъ шагомъ. — Близко ли, мальчикъ? Близко, увѣрялъ онъ каждый разъ, а между тѣмъ вѣтьви хлестали въ глаза; мы въ темнотѣ цѣплялись за пни, за сучья, перелѣзали черезъ обрушенныя сосны.

Утомясь, достигли наконецъ шалаша, передъ которымъ лежала полусъѣденная волками лошадь. Товарищъ мой закурилъ трубку, мальчикъ уснулъ, я пожимался на росистой травѣ отъ холоду: все было тихо какъ въ могилѣ.

Вдругъ шумомъ отдаленной рѣки зашумѣли деревья, вихорь пронесся по лѣсу и зарница блеснула на ружьяхъ; филинъ, хлопая крыльями перелетѣлъ съ ближней ели, вой волковъ отозвался въ окрестности, и сверкающіе глаза ихъ зажглись во мракѣ, будто свѣчи.

— Слава Богу, думали мы, заводя курки; будетъ поле! Но осторожные звѣри не приближались на выстрѣлъ, бѣгали вокругъ и удалялись снова.

Выведенные изъ терпѣнія ихъ нерѣшительностію, мы согласились потихоньку зайти имъ въ бокъ; однако же, по мѣрѣ нашего приближенія, вой слышался далѣ и далѣ. Темнота мѣшала видѣть даже конецъ дула; медленно, можно сказать ощупью, подвигались мы впередъ — вдругъ товарищъ мой крикнулъ и исчезъ; я ступилъ шагъ и стремглавъ полетѣлъ за нимъ съ утеса!....

Кустарники спасли намъ жизнь: мы, обсыпанные землей, безвредны скатились въ лощину. Поднявшись на противоположный холмъ, съ вершины его замѣтили мы, что въ сосѣднемъ глубокомъ рвѣ курится огонекъ: пять человѣкъ, съ длинными за поясомъ ножами, сидѣли кружкомъ, пили и смѣялись.

— Это вѣрно пѣшеходы или косцы, сказалъ товарищъ мой.

— Нѣтъ, Модестъ, это не косцы, потому что вблизи нѣтъ сѣнокосовъ, и не путники, потому что дорога лежитъ далеко отсюда.

— Конечно и не разбойники! перебилъ забавной товарищъ мой, я видалъ ихъ на вишьеткахъ и въ Нѣмецкомъ театрѣ не разъ, всегда въ красныхъ плащахъ и въ шляпахъ съ перьями, а у этихъ нѣтъ ни Испанскихъ шляпъ, ни епанчей.

Между тѣмъ любопытство влекло насъ далѣе; на цыпочкахъ прокрались мы къ огню и спрятались за толстыми пнями.

—Ну, Модестъ! шепталъ я товарищу, попались мы въ доброе мѣсто! Это процессъ Фюальдеса въ лицахъ. Богъ мой! посмотри: мой мальчикъ окровавленъ и связанъ; мои лошади, чемоданы! — тсъ, тсъ....

Громкой свистъ раздался по лѣсу, ему отвѣчали подобнымъ. Широкоплечій мужчина въ синемъ кафтанѣ, съ суковатою дубиной въ рукахъ, сошелъ къ сидящимъ у огня.

— Здравствуй, атаманъ! —

— Здравствуйте, ребята; что у васъ новаго?

— Плохо, атаманъ; пынѣ тяжелые годы, придется разбивать клѣти за крашенину: купцы умудрились ѣздить обозами, дворяне давно ухо держатъ востро, а отъ исправниковъ житья нѣтъ.... Голодный волкъ и завертки рветъ:

принуждены были разграбить офицерскую повозку.

— Худо, Андрей! сказалъ атаманъ, видно что молодъ; поживы отъ военныхъ немного, а хлопотъ съ ними и за ихъ не оберешься.

— Добыча сама навернулась; какъ упустить? совѣсть замучитъ. У повозки сломалась ось, люди-то и остались отъ полка; дѣло шло къ вечеру, когда я ихъ встрѣтилъ. Они спрашиваютъ дорогу, я и повелъ ихъ проселками, да ужь одному указалъ путь прямо къ Аврааму, а другаго сюда привезъ, какъ тебѣ вздумается.

— Велика ли же добыча, не даромъ ли замаралъ руки?

— Денегъ только 300 рублей; двѣ лошади, бѣлье и платье.

— На кой чортъ намъ эти мундиры, ворчалъ одинъ изъ разбойниковъ, продавать ихъ бѣда, а для себя изъ цѣлаго мундира не выкроить шапки; въ огонь ихъ, въ огонь и книги и бумаги; грѣхи наши и безъ насъ запишутъ на небѣ.

— А мальчику долой голова, хладнокровно произнесъ атаманъ, чтобъ и концы въ воду. Лопасій! у тебя на ножѣ молодая сталь, поучись надъ нимъ храбрости!

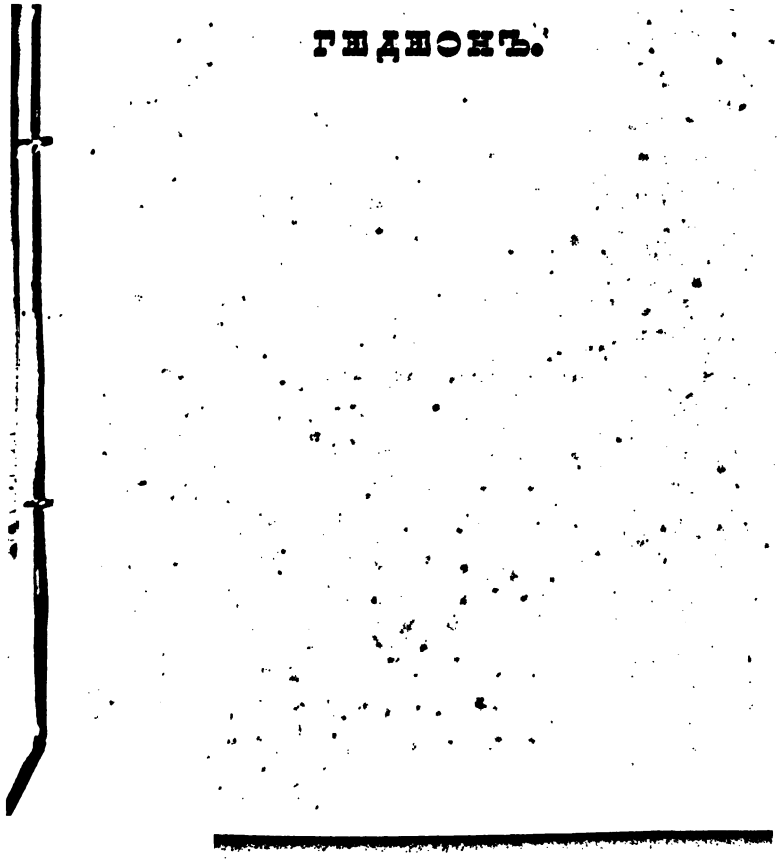
Морозъ пробѣжалъ по мнѣ, когда я услы-

шалъ этотъ варварскій приказъ; но гнѣвъ замѣнилъ негодованіе. — Модестъ понялъ знакъ мой, мы приложились, разбойникъ подошелъ къ мальчику, блѣдному какъ полотно, и наложилъ поясъ ему на шею . . . вопль несчастнаго заглушался ужасомъ, мольбы его были напрасны, ужь варваръ готовился затянуть петлю, но выстрѣлы повергли его и атамана мертвыми.

Съ крикомъ бросились за нами остальные разбойники — не вѣдаю, куда скрылся Модестъ, но мнѣ измѣнили силы: злодѣи настигли меня, связали, привлекли къ огню. Приговоръ смерти и мщенія прогремѣлъ въ слухъ мой, не отъ кого было ждать пощады! Вырыли могилу у ногъ моихъ, — а я? я уже былъ мертвъ прежде смерти. Кровь то кипѣла, то остывая, капля по каплѣ двигалась въ жилахъ; свѣтъ меркнулъ, духъ занимался, сердце стиснулось отчаяніемъ — наконецъ блеснулъ огонь съ полки пистолета . . . .

Это сонъ, милостивые государи!

ГИДЮКЪ.



Не стало Грознаго Іоанна! не прошли времена грозныя! Сѣкиры, и палицы опричниковъ не висѣли уже надъ головами гражданъ; но голодъ терзалъ ихъ, Поляки расхищали, Шведы грозили. Коротко и бѣдственно было царствованіе Осодора; онъ умеръ, и раздоръ увѣнчанный надгробными кипарисами власти законной, схватилъ бразды правленія. Междуцарствіе длилось не долго: честолюбивый Годуновъ, могильною стезей прокрался къ трону сыновъ Рюриковыхъ, и кровію царевича Угличскаго оросилъ шаткое колесо Фортуны. Уже налагалъ цѣпи и притворялся отвергающимъ вѣнецъ; какъ бы нехотя принялъ его,

и мудрымъ, но злополучнымъ правительствомъ выкупилъ свои преступленія, и не могъ осчастливить подданныхъ. Фіалъ отравы переполнился — ядъ прекратилъ бурную жизнь Годунова — и Русь превратилась въ станъ разбойничій: чужіе и свои грабили, кто что могъ. Поляки, покровительствуя Отрепьева, вторглись въ границы наши, какъ друзья — своихъ выгодъ. Дворъ призналъ царемъ лже-Димитрія; народъ, вольный только мѣнять цѣпи, казалось, вѣрилъ тому, и пенстовства Литовцевъ ознаменовали восшествіе на престолъ пришельца.

— Рѣшено! сказалъ тогда боярин Гедеонъ Бестужевъ: я не слуга Польшѣ. Кто не держалъ стремени Грозному, не поклонится тотъ и царю-Самозванцу; передъ нимъ корона, со мною честь моя, ѣду.

Сказалъ, и отправился изъ Москвы въ свои помѣстья на Лугу иирную, гдѣ, какъ отецъ семейства, какъ добрый владѣлецъ, въ занятіяхъ сельскихъ хотѣлъ забыть горе отечества, которому не могъ пособить. Издавна ужасный рыцарямъ, онъ вналъ страхъ только въ своихъ противникахъ, и не разъ разгромленныя стѣны городовъ Ливонскихъ видали его перваго на раскатахъ своихъ, въ самомъ пылу приступа. Возросши въ битвахъ, Бестужевъ прези-

рал пропырствами Двора, не искал милости временщиков, не вымаливал царской опалы; как воинъ опытный, дрался въ полѣ; как прямой боярин, говорилъ красную правду на шумныхъ выборахъ. Но когда вяжутъ руки на доброе, думалъ онъ, не хочу служить злобѣ—и ждалъ покойно лучшаго времени.—Лже-Димитрій свергнутъ! разнеслось повсюду, и Гедеонъ запировалъ съ друзьями,

— Теперь ты можешь быть зятемъ моимъ, писалъ онъ къ юному Всеволоду Горскому. Празднуетъ святая Русь, а мы развѣ не Русскіе? Оправданы мои слова, сбылись и твои надежды. Пріѣзжай; Евпраксія, нареченная невѣста твоя, будетъ тебѣ женою.

Пылкій Всеволодъ прилетѣлъ къ любезной сердцу, и Бестужевъ, обнимая его, сказалъ:

— Дѣти мои бьются въ дружинахъ дальнихъ: будь мнѣ вмѣсто сына роднаго. Недѣлю посвятимъ радости, а потомъ походцы ждутъ насъ, ждетъ поле ратное и служба отечеству. Я слишкомъ старъ, чтобы дорожить своею жизнію, но довольно молодъ, чтобы наносить смерть врагамъ отчизны... Сегодня сговоръ, а завтра свадьба. Благословляю!

Радостно чокались жалованные царями ковши съ золочеными кубками, за вечернимъ столомъ, въ рукахъ гостей и ероднковъ; ши-

пѣли меда, лились вина и наливки. Красныя дѣвушки распѣвали пѣсни; подъ гусли звончатыя; женихъ съ невѣстой не могли наглядѣться другъ на друга; а старики, разглаживая усы, толковали объ оружіи, о кольчугахъ, о конях и воинахъ; воспоминали старинное, готовились къ будущимъ битвамъ. Все шумѣло и радовалось, все праздновало и ликовало; пошли въ ходъ чары заздравныя, загремѣли бубны и трубы . . .

Вдругъ черный воинъ, въ латахъ Германскихъ, съ пистолетомъ въ рукѣ, явился передъ столомъ пиршества.

— Ни съ мѣста! произнесъ онъ къ испуганнымъ гостямъ, которые поскакали съ лавокъ: или я раздроблю черепъ первому, кто тронется! Копья и карабины засверкали въ дверяхъ и окнахъ; изумленіе, ужасъ оковали всѣхъ; звукъ голоса умеръ въ воздухѣ.

— Узнаешь ли ты меня, Гедеонъ? продолжалъ онъ, поднимая рѣшетку шлема своего и устремивъ грозные взоры на Бестужева. Узнаешь ли во мнѣ юношу, котораго повергъ и полонилъ ты на развалинахъ Лиденгардена, и въ цѣпяхъ волочилъ до Москвы? Пять лѣтъ, брошенный тамъ какъ звѣрь въ ямѣ подземной, я питался одною надеждою мести. О! какъ проклиналъ я тебя, когда Русскія дру-

жины или поражать братій моихъ! Я грызъ оковы, и наконецъ разбилъ ихъ, и наконецъ пришелъ къ тебѣ заплатить долгъ мой. Что жъ ты не подчуешь гостя нежданаго; или мнѣ начать круговую?

Тутъ налилъ онъ вина въ желѣзную перчатку свою, отпилъ самъ и подалъ ее Гедеону.

— Долго я слушалъ тебя, незнакомецъ, отвѣчалъ Бестужевъ съ гордостію, не понимаю твоего имени рыцарскаго, не хочу знать прозванья разбойника. Я служилъ родинѣ, исполнялъ нелѣпые царя. Богъ судья ему, а не ты. Не думай, что латы творятъ безстрашными: братья твои и въ нихъ бѣгали отъ меня; я тебя презираю и безоружный. Передо мной сотни перчатокъ Нѣмецкихъ падали вмѣстѣ съ руками; не бывать и этой на столѣ боярскомъ: подлый разбойникъ! вотъ она. Онъ бросилъ ее на землю.

— Разбойникъ! говоришь ты! съ яростію вскричалъ черный воинъ. Но я былъ ученикомъ твоимъ въ ремеслѣ грабительства; или ты позабылъ осаду Лиденгарденскую, когда алчные ратники дружины твоей, сквозь дымъ и огонь ворвались въ домъ отца моего, и младенцевъ сестръ, и братьевъ моихъ разможжили на камнѣ? Твой мечъ пронзилъ сердце

моего родителя. Месть и свобода! были последним его завѣщаніемъ, единственнымъ моимъ наслѣдіемъ: великодушные Россіяне истребили остальное — даже слѣды замковъ моихъ исчезли подъ боронами вашими. Вы сокрушили Орденъ; но, сложивъ крестъ, я не сложилъ меча, и этотъ мечъ, закаленный въ слезахъ Ливонскихъ, тридцать лѣтъ вкушаетъ кровь непріятельскую, и твоею [illegible]аньется, но не здѣсь, нѣтъ, — тамъ, гдѣ ты убилъ отца моего, тамъ изъ тебя вытечу жизнь по каплѣ и развѣю прахъ твой по полю. Бестужевъ! я не даромъ былъ свидѣтелемъ неслыханнаго свирѣпства царскихъ сподвижниковъ, когда [illegible] [illegible]нноплѣнному старцу фонъ-Мюнстеру выкалывали шомполами глаза и замучили его подъ [illegible]*. Я повторилъ все это съ де-ла-Гардіе[illegible] Нарвы и Вендена, отмщевая смерть друзей, которые взлетѣли добровольно на воздухъ, не желая подвергнуться плѣну подобныхъ врагомъ**. Зачѣмъ

---

* По взятіи Ливонардена въ 1577 году, по приказу Іоанна, Гаспарду фонъ-Мюнстеру, маршалу Ордена, выкололи глаза и засѣкли его розгами.

** Четыреста человѣкъ дворянъ, по взятіи Вендена Русскими, заперлись въ замокъ, и, видя жестокости ихъ, рѣшились сжечь себя, а не отдаться въ плѣнъ; отслужили обѣдню и бросили огонь въ пороховой погребъ. Это было въ 1557 году. По Де-ла-Гар-

ты не встрѣтилъ тамъ смерти отъ руки моей въ битвѣ почетной? Я клялся погубить тебя — и погибнешь безъ славы. Ты, злодѣй, отнялъ у меня свободу, честь и все, что человѣку дорого на землѣ. Во время плѣна моего, моя суженая вышла за другаго, и — я убилъ ее, и ты одинъ виненъ, что Эдгардъ фонъ-Шрейтерфельдъ сталъ разбойникомъ. Проклятія всѣхъ — теперь мои титла; обращаю ихъ на твою голову, и радуюсь, что ты можешь понимать оныя на языкѣ своемъ. Но, уже время! Рункеръ! Розентенъ! Вульфъ! попросите боляръ располагаться и снимите ихъ кушаками. Долой бархатъ и камку: весною тепло. Рейтары! снимайте со стола серебро и золото, съ гостей жемчуги и каменья. Фрейманъ! солому по всѣ углы, петли по всѣмъ жолобамъ: двухъ на висѣлицу, третьяго на ворота — понимаешь? Старики не стоятъ пороху: оставь ихъ погрѣется у пожара. Смотри, Гедеонъ! одинъ только этотъ кремень остался мнѣ отъ всего дома родительскаго, и онъ раздѣлитъ со мною сладость мщенія!

Съ сими словами Шрейтерфельдъ ударилъ

дій, взявши въ 1581 году Нарву и Вендену, превзошелъ варварствомъ и самихъ Татаръ.

кремнемъ въ обухъ меча своего, искры полились, зажгли трутъ и солому, и домъ вспыхнулъ. Крикъ, вопли и выстрѣлы раздались повсюду. Гофлейты грабили и рѣзали; деревня пылала; вой набатныхъ колоколовъ разносилъ ужасъ въ окрестности.

— Вотъ мои потѣшные огни, и звонъ твоей панихиды! говорилъ съ адскою улыбкою Шрейтерфельдъ связанному Гедеону, который проклиналъ его. Благодари жъ меня, что я памятливъ: издалека пріѣхалъ, повеселить друга, на свадьбу къ твоей дочери. Не крушись, Гедеонъ, и она ѣдетъ съ нами, полюбоваться твоею смертію. Конрадъ! подведи бѣгуновъ старику и красавицѣ. Треймерзецъ! возьми двадцать удальцовъ на лучшихъ коняхъ, ступай впередъ провожать плѣнниковъ, и помни, что ты головою отвѣчаешь мнѣ за цѣлость ихъ; Штернъ разскажетъ тебѣ, куда ѣхать и гдѣ съѣхаться — спѣши!

Бушевалъ вихорь по бору, тучи набѣгали грядами; изрѣдка блѣдный лучъ мѣсяца сверкалъ на черныхъ латахъ гофлейтовъ Эдгардовыхъ и снова скрывался въ расторгнутыхъ облакахъ. Раскаты отдаленнаго грома сливались съ шумомъ водопада Наровскаго, къ ко-

горому приближались они; все предвѣщало бурю.

— Гауптманъ! сказалъ Шрейтерфельду рейтаръ Штольцъ: вотъ мѣсто, куда назначено собираться всему штандарту нашему.

И атаманъ осадилъ коня своего.

— Слѣзай! скомандовалъ онъ. Разведите огонь, товарищи; лошадей въ коноводъ, часовыхъ на дорогу; отдыхайте.

Подъ вѣковыми соснами, на полянѣ, запылали трескучія вѣтви, и свирѣпыя лица гофлейтовъ мелькали на заревѣ сквозь дымъ, какъ привидѣнія злыхъ духовъ. Иные убирали коней, другіе пекли мясо на палашахъ своихъ; вино лилось, и громкій смѣхъ разносился вѣтромъ. Угрюмъ лежалъ атаманъ подлѣ костра, завернувшись въ плащъ, а дикіе взоры его, блуждая окрестъ, нетерпѣливо кого-то искали.

— Это непонятно! наконецъ вскричалъ онъ: это непростительно! Треймерзенъ долженъ опередить насъ, а его нѣтъ до сихъ поръ; или онъ заблудился или пошелъ дальнею дорогою; но въ обоихъ случаяхъ онъ стоитъ веревки.

— Wer da? раздалось на дорогѣ.

— Freund, отвѣчалъ голосъ.

— Это онъ, это Треймерзенъ!

Нѣтъ, всѣ ошиблись. Латникъ спрыгнулъ

съ коня, хладнокровно отпустилъ подпруги, разундистучилъ своего буцефала, и тогда уже подошелъ къ огню; это былъ одинъ изъ гофлейтовъ, именемъ Фромгольдъ.

— Здорово, пріятели! здравствуй, гауптманъ! гдѣ воевалъ, гдѣ ты странствовалъ? — Ба! да у васъ пиръ горой, и водка и вино: браво, товарищи! это кстати моему постному желудку. Ваше здоровье! сегодня я такъ отощалъ, что долженъ былъ два раза стягивать портупею, боясь потерять ее вмѣстѣ съ палашемъ. Между тѣмъ онъ пристально работалъ руками и зубами. — Странное дѣло! продолжалъ Фромгольдъ, переодѣвая ужинокъ тѣло мое прыгало въ кирасѣ туда и сюда, какъ сухой орѣхъ въ скорлупѣ своей, а теперь надо распускать пряжку за пряжкою. Товарищъ Геркинъ! не въ службу, а въ дружбу, задай овса жеребцу моему; онъ такъ скакалъ вчера, какъ будто и ему грозила висѣлица.

— Скажи пожалуй, откуда ты взялся? спросилъ его Шрейтерфельдъ.

— Бездѣлка, гауптманъ! чуть не изъ петли. Мнѣ захотѣлось подѣлиться съ однимъ богатымъ Шведскимъ дворянчикомъ: говоря ихъ языкомъ, я пробрался къ нему на мызу, которая нерстахъ въ сорока отъ Нарвы; тамъ выдалъ себя за Шведскаго офицера, будто бы

ѣдущаго изъ Потебурга въ Ревель, и сначала все шло удачно. Смерклось; меня оставили ночевать; я потихоньку осѣдлалъ коня, пробрался къ кладовой, и лишь только хотѣлъ палашемъ уговорить къ сдачѣ желѣзный сундукъ, весьма привлекательной наружности — вдругъ слышу по всему дому тревогу. Видя, что меня узнали, я выпрыгнулъ въ окно, не ожидая удовольствія быть проткнутымъ рогатиною. Шпоры въ бокъ вороному — и мы за рѣкою, и мы въ полѣ, а тогда поминай какъ звали. Зная, что наши удальцы часто дѣлаютъ здѣсь привалы, я пробрался сквозь чащу — и на этотъ разъ обоняніе не обмануло меня: превеликолѣпный ужинъ, особенно для того, кто обѣдалъ напусть; бьюсь объ закладъ, это маленькая подать съ Русскихъ купцовъ.

— Прямо съ боярскаго стола, любезный Фрожольдъ; прямо изъ-подъ Луги! отвѣчалъ Фрейманъ.

— Изъ-подъ Луги? смѣешься или шутишь надо мной? дойти до нее легко, но воротиться оттоль очень трудно.

— Однако возможно, сказалъ Шрейтерфельдъ, я не разъ гостилъ въ границахъ Русскихъ и за непремѣнное положилъ побывать подъ Лугою, гофлейтамъ для добычи, себѣ для забавы. Лѣсами и окольцами тихо про-

брались мы къ деревнѣ одного боярина, съ которымъ мнѣ нужно было разсчитаться. Онъ праздновалъ сговоръ дочери; рейтары мои окружили домъ, а въ немъ никто еще не зналъ объ опасности. Надобно было видѣть картину, когда явился я между пирующими гостями: хмѣль и страхъ приковалъ ихъ къ лавкамъ, стаканы замерли въ рукахъ; куда дѣвались и смѣхъ и веселость!

— Ты упалъ какъ громъ съ неба? прервалъ его смѣючись, Фромгольдъ.

— Но принесъ адскія новости! продолжалъ атаманъ. Услышавъ приговоръ свой, многіе осмѣлились бранить меня, но свинецъ залилъ имъ горло. Крикъ, стонъ, плачъ, пальба, однимъ словомъ, сердце не нарадовалось. О добычѣ спроси у рейтаровъ: нарчами хоть мость мости, серебра въ полю, въ винѣ и коней купали, а на дорогу себѣ я запалилъ такіе факелы, что за двадцать верстъ можно было считать сѣдые волоски въ усахъ моихъ.

— Wer da? закричалъ сторожевой изъ гофлейтовъ; отвѣта не было. Фромгольдъ придвинулъ къ себѣ палашъ, атаманъ положилъ руку на прикладъ карабина. Вѣтеръ завывалъ, и порывами наносилъ крупныя дождевыя капли.

— Чортъ возьми, если тебѣ не привидѣлось! сказалъ часовому Фромгольдъ, подкла-

дымая въ огонь сухія вѣтви. Изъ храбрости своей ты радъ окликать каждую ворону, тобою же испуганную. Кому охота въ такую ночь прогуливаться по дремучему лѣсу! И такъ въ двое сутокъ вы здѣсь? обратился онъ рѣчь къ Шрейтерфельду. Но зачѣмъ набралъ ты такую дальнюю въ Линненарденъ дорогу? или боялся погони или войска Литовскаго?

— Постой, прервалъ его атаманъ; кажется, я слышу конскій топотъ.

Фромгольдъ припалъ ухомъ къ землѣ.

— Да, точно; вставай, товарищи! загремѣлъ Шрейтерфельдъ, и гофлейты поднялись какъ тѣни.

Топотъ приближался.

— Свои! отвѣчали трое запыхавшихся всадниковъ, на окликъ часоваго, и въ два мгновенія стояли уже передъ атаманомъ.

— Наконецъ вы здѣсь! съ радостію произнесъ онъ, увидя съ ними полумертвую Евпраксію. Но гдѣ Треймерзенъ? гдѣ другіе?

— Всѣ погибли, отвѣчалъ Тиллейнъ, всѣ убиты; проклятый женихъ этой дѣвчонки, невѣдомо какъ, ускользнулъ отъ виселицы, собралъ слугъ и стрѣльцовъ, заскакалъ намъ впередъ и перерѣзалъ дорогу; дѣло было жаркое, товарищи наши легли, старикъ спасся; но мы трое успѣли ускакать съ дочерью.

— Какъ! вскричалъ Шрейтерфельдъ, скрыпя зубами: его отбили? его увезли? Духи адскіе! когда перестанете вы играть мною? Тридцать лѣтъ искалъ я его, нашелъ, и потерялъ въ одну минуту!... но тебя, Евпраксіи, тебя никакія силы не вырвутъ изъ рукъ моихъ — ты заплатишь мнѣ за отца своего!

И онъ медленно поднялъ фату ея, наслаждаясь ужасомъ невинной жертвы. Напрасно обнимала она колѣна варвара, напрасно молила его; ни слезы, ни юность, ни красота не тронули злодѣя, закоренѣлаго въ преступленіяхъ. Злобно хохоталъ онъ, взводя курокъ пистолета, и повлекъ Евпраксію привязать къ дереву.

— Пусть отецъ твой стократно умираетъ въ тебѣ, покуда я не вырву изъ него души, произнесъ онъ. А! кольцо обручальное!

Разбойникъ сорвалъ его съ руки несчастной.

— Оно обручитъ тебя съ смертью: оно мило тебѣ, оно будетъ въ сердцѣ твоемъ!

Сиявъ, опустилъ онъ его въ дуло.

— Мольбы твои безплодны! продолжалъ Шрейтерфельдъ, прицѣливаясь — выстрѣлъ раздался, и — не стало Евпраксіи.

— Бейте разбойниковъ! воскликнулъ невѣдомый голосъ, и выстрѣлы полетѣли со всѣхъ

Всеволодъ съ конными стрѣльцами врѣзался въ средину испуганныхъ нечаянностію гофлейтовъ.

— Милости просимъ, кричалъ ему атаманъ, и положилъ на мѣстѣ двоихъ изъ карабина.

— Ко мнѣ, товарищи! и мечъ его засверкалъ какъ молнія.

Сѣча была ужасна: кони и воины падали другъ на друга, свинецъ поражалъ безстрашныхъ, ломались сабли на панцыряхъ, летѣли искры мечей, иверни латъ разбитыхъ — и пылающій костеръ озарялъ умирающихъ. Окрестность звучала кликами отчаянья и мести, громы земные спорили съ громомъ небесъ; наконецъ склонилась побѣда на сторону правую; гофлейты, задавленные латами, не умѣли сражаться пѣшкомъ и, скользя на влажной травѣ, падали и отступали. Уже только шестеро осталось отъ всего штандарта ихъ; Шрейтерфельдъ рубился какъ отчаянный.

— Фрейманъ! кричалъ онъ одному изъ сражающихся: вспомни Липпеварденъ и не измѣни своему прозвищу; свободными жили мы, вольными должны и умереть.

Но Фрейманъ палъ отъ руки Бестужева, который, не зная своего несчастія, вездѣ искалъ Евпраксію. Юный Всеволодъ размахомъ

сѣкиры сокрушилъ въ дребезги и жечъ и паранникъ Шрейтерфельда.

— Сдайся, злодѣй! воскликнулъ онъ, снова подъемля сѣкиру. Сдайся! или умрешь — ты безоруженъ!

— Но не побѣжденъ! отвѣчалъ атаманъ, рванувшись на Всеволода и стиснувъ его желѣзными руками:

Долго крутились они по скольжкому берегу.

— Гибни со мной, произнесъ Шрейтерфельдъ, и оба полетѣли въ бездну.

Взошло солнце весеннее и озарило несчастнаго отца надъ тѣломъ дочери. Горько плакалъ онъ; но, смирясь передъ испытующимъ перстомъ судьбы непонѣдимой, оставилъ долину смерти, и скоро палъ за родину, подъ знаменами Пожарскаго. — До сихъ поръ, говоритъ баснословное преданіе, въ часъ полуночи, когда молніи блещутъ въ черныхъ валахъ пороговъ Наровскихъ, встаетъ ужасный призракъ надъ рѣкою, и тѣни душегубцевъ блуждаютъ по полю. А тамъ, гдѣ свершилось убійство, гдѣ лилась кровь неповинная, и травка не пьется, и ласточка не вьетъ гнѣзда своего.

О ДЕРЕВЯННОМЪ СТРОЕНІИ ВЪ РОССІИ.

У насъ въ Россіи всѣ деревни, и всѣ почти города построены изъ дерева. Число каменныхъ господскихъ домовъ, въ городахъ и деревняхъ, такъ маловажно, что трудно опредѣлить его отношеніе къ деревяннымъ, — за-то, какъ очевиденъ вредъ, отъ того происходящій! Истребленіе лѣсовъ и безпрестанные пожары суть неминуемыя и гибельныя сего послѣдствія. Вредное вліяніе на здоровье, а всего болѣе на характеръ цѣлаго народа, видно въ живыхъ примѣрахъ. Для этой послѣдней цѣли намѣренъ я написать нѣсколько слѣдующихъ строкъ; но прежде, нежели приступлю къ нравственному отдѣлу, мнѣ должно доказать, что

деревянная постройка не есть необходимость Русскаго, потомъ, что каменная возможна — физически и даже выгодна въ хозяйственномъ отношеніи. Иначе меня могутъ укорить въ напрасной декламаціи, въ сраженіи съ стихіями, которыхъ нельзя ни избѣжать, ни отвратить.

Необходимостію можно признать только невозможность замѣнить дерево другимъ матеріяломъ, т. е. камнемъ или кирпичемъ. Но весь нашъ сѣверъ изобилуетъ всякаго рода пластами, годными въ постройку,* а доказательствомъ тому служатъ и каменоломни по всей Олонецкой, Вологодской, С. Петербургской, Тверской и Новгородской губерніи. Гдѣ же нѣтъ пластовой ломки, тамъ голыши, валуны и вообще гранитные обломки, по всѣмъ полямъ разсѣянные, даютъ превосходный матеріялъ для наливной кладки съ глиною, какъ дѣлаются корчмы въ Остъ-Зейскихъ провинціяхъ*. Вся Украйна изобилуетъ меловыми горами и известковыми породами. Только средина Россіи, т. е. Московская, Тульская, Нижегородская и части прилежащихъ губерній, лишена сей выгоды, но одни ручьи и рѣки своими камешками и ракушками доставить мо-

* Даже мазанки и битыя стѣны изъ глины съ пескомъ, по чистотѣ и прочности своей, предпочтительнѣе бревенчатыхъ избъ.

гутъ стѣнъ на половину ихъ населенія. Притомъ же до сихъ поръ не было дѣлано изысканій: можетъ быть, на сажень внизъ лежатъ тамъ слои шифера, сланца, или известняка, годные въ постройку. Но предположивъ даже, что по всей Россіи нѣтъ дѣльнаго камня, или что добывка его станетъ дорого — вѣрно никто не поспоритъ, что въ глинѣ и песку у насъ нѣтъ недостатка! А для дѣланія кирпича больше ничего не надобно. Мнѣ скажутъ, что для обжиганія кирпича тоже пойдетъ много лѣсу — не лѣсу, а дровъ, буду отвѣчать я, и въ этомъ великая разница. Кирпичъ обжигать можно и валежникомъ, и сучьями, и турфомъ, и бурьяномъ — строить избу нельзя иначе, какъ изъ 50-лѣтняго лучшаго лѣса.

Теперь второю необходимостію могутъ поставить мнѣ привычку Русскихъ жить въ деревянномъ строеніи, ихъ предразсудокъ противу каменнаго жилья. Но это происходитъ отъ того, что они не имѣютъ примѣра или видятъ очень дурные, т. е. службы иныхъ господъ своихъ по большей части построенныя на скоро, и отъ того сырыя зимою и затхлыя лѣтомъ. Но покажите ему хижину, складенную изъ добраго кирпича, хорошо покрытую, сухую — и онъ скоро пойметъ ея выгоды въ домаш-

немъ быту и въ пожарномъ случаѣ. Онъ почувствуетъ выгоду не быть терзаему насѣкомыми — вѣчными жильцами щелей, не быть продуваему всякимъ вѣтромъ, какъ въ деревянной избѣ, и замѣтитъ, вопреки предубѣжденію, что если каменный домъ трудно нагрѣть, за то еще труднѣе простудить. Однимъ словомъ, онъ броситъ этотъ предразсудокъ, какъ половина Русскихъ мужиковъ черныя печи, которыя (сначала уверяли они) горячо, тепло и сухо бѣлыхъ, съ челами и трубами. Возможность физическая при изобиліи матеріяловъ, состоитъ въ рабочихъ рукахъ — а нигдѣ въ мірѣ нѣтъ ручной работы дешевле, чѣмъ у насъ. Наука дѣлать кирпичи, прано, нехитрая, и во всякой деревнѣ или по-крайней мѣрѣ округѣ, есть печникъ, который необходимо *знаетъ это ремесло*. Слѣдовательно, стоитъ только помѣщикамъ захотѣть, и у крестьянъ ихъ возвысятся каменныя жилья. Если расчитать время, употребленное каждымъ мужикомъ на вывозку себѣ избы, на срубку ея, и наконецъ на поставку (для чего онъ собираетъ *помочи* человѣкъ до сорока), то все время рабочихъ въ сложности немногимъ разнѣ чѣмъ разнится отъ работы кирпичника съ ямъ-емъ глины, обжогомъ, и потомъ стѣнною кладкою. Но какая разница въ долговѣчности!

На щеть выгодъ хозяйственныхъ — деревянное имѣетъ на своей сторонѣ настоящую дешевизну и скорость; но тутъ прямое тройное правило. Чѣмъ дешевлѣ — тѣмъ непрочнѣе, тѣмъ менѣе цѣнно въ продажѣ. Чѣмъ скорѣе строится, тѣмъ скорѣе и разрушается. Извѣстно по опыту, что изба изъ лучшаго лѣсу и въ бережи, стоитъ не болѣе 60 лѣтъ. По круглымъ числомъ, отъ пожаровъ, съѣдающихъ по крайней мѣрѣ двѣ трети деревяннаго жилья, нельзя каждой избѣ дать болѣе 20 лѣтъ вѣку. И такъ каждый крестьянинъ черезъ двадцать лѣтъ долженъ возобновлять свою избу, дворъ, хлѣвъ, амбары, ѣздить за каждымъ бревномъ верстъ за 40, 70, а въ безлѣсныхъ губерніяхъ и за 200; покупать ихъ дорого, если нѣтъ своихъ участковъ, или терять время, которое тѣ же деньги работника, и плату за дерево, которое онъ могъ бы продать купцу на мачты или на пилонку. То же самое должно разумѣть и о помѣщикахъ; они весьма ошибаются, думая, что имъ ничего не стоитъ постройка, отъ того, что они не выдаютъ на нее денегъ . . . да за то они не берутъ денегъ съ своего работника, который могъ бы съ большою выгодою употребленъ быть къ продолжимымъ промыслениямъ*.

* Есть хозяева, кои, по правдѣ сказать, не умѣютъ

Расчитавъ такимъ образомъ, что день ото дня деревянныя постройки становятся дороже, между тѣмъ какъ долговѣчность ихъ остается въ прежней пропорціи, можно предвидѣть, что скоро, полею, или неволею, мы прійдемъ къ необходимости каменныхъ зданій, введеніе которыхъ совѣтуетъ теперь здравый смыслъ. Съ расширеніемъ торговли и съ умноженіемъ людности, лѣса рѣдѣютъ; но бѣда, если они вовсе исчезнутъ въ странѣ туманной и вѣтристой, какова наша. Расчистка лѣсовъ очищаетъ воздухъ и благорастворяетъ климатъ, но вырубка ихъ сушитъ почву и лишаетъ ее плодородія. Напрасно мы себя льстимъ надеждою, что лѣса наши неистощимы: тамъ, гдѣ прежде росли они борами, теперь качаются одни поросли, и прибережья главныхъ рѣкъ, славныхъ прежде мачтовыми деревьями, такъ обнажены верстъ на 60, что трудно вырѣзать прямой хлыстикъ. Стеклянные и поташные заводы, и неразсудная гонка дегтю пожираютъ драгоцѣнныя поколѣнія лѣсовъ. Лыки, березки для Троицына дня и семика, и

свести двухъ мыслей въ хозяйствѣ; напримѣръ: изъ степныхъ губерній всзутъ въ Москву запасъ домашній, и для двухъ дюжинъ потроховъ или кринки масла, нѣсколько мужиковъ съ лошадьми оторваны отъ работы на два мѣсяца.

подрѣзываніе деревьевъ для соку истребляютъ дровяной лѣсъ. Пожары довершаютъ остальное въ обоихъ.

Слѣдовательно цѣна на строевой лѣсъ, для досокъ внутри земли, и для отпуска за границу, возвышаться будетъ годъ отъ года и потому владѣльцы ихъ будутъ терять съ каждымъ годомъ болѣе и болѣе, употребляя для себя то, что могло бы принести имъ двойную пользу. Земледѣліе упадетъ или затруднится, а притомъ пожары, кромѣ стѣнъ, разрушаютъ и пожитки, нерѣдко самый скотъ. Все это вмѣстѣ доказываетъ, что каменное строеніе полезно, возможно и выгодно. Теперь приступаю къ части моральной, завлекшись не-хотя въ подробности вещественныя.

Человѣкъ — привычное животное. Первыя впечатлѣнія образуютъ его память, память образуетъ его сужденіе примѣрами. По какіе примѣры передастъ ему кровля дома, подъ которой не умиралъ его дѣдъ, ни прадѣдъ; которая не была свидѣтельницей ни добрыхъ, ни злыхъ поступковъ родныхъ его? Стѣны дома измѣнялись на его глазахъ; онѣ моложе вѣку человѣческаго — и онъ не глядитъ на нихъ съ уваженіемъ, неразлучнымъ съ древностію. Онѣ ничего не припоминаютъ ему — и онъ къ нему равнодушенъ. Ему легко покинуть домъ

отцевъ, потому, что легко кое какъ околотить новый; а кому легко разстаться съ стѣнами роднаго жилища, тому не трудно бросить и родину — позабыть все родимое. Дерево тлѣетъ, горитъ, а съ нимъ пропадаютъ и прежніе нравы и дѣдовскіе обычаи. Необходимость мѣнять жилища, отъ огня или дряхлости, обращается въ привычки . . . привычка образуетъ характеръ, и вотъ отъ чего у насъ о перестройкѣ, о продажѣ дома, о перемѣнѣ города, о сносѣ деревни съ мѣста на мѣсто говорятъ, какъ будто о старыхъ башмакахъ. Это ни кого не трогаетъ, ни кого не огорчаетъ сердечно. Но такое равнодушіе унижаетъ человѣка въ кругъ животныхъ. Кто не воспоминаетъ о своихъ предшественникахъ, тотъ не ищетъ жить въ воспоминаніи, тотъ не имѣетъ даже мысли объ улучшеніи своего состоянія. Опыты, умъ вѣковъ протекшихъ для него потеряны. Онъ живетъ одинъ, и день за днемъ. — Не отъ того ли это, что ни одинъ камень, ни одна развалина не хранитъ внукамъ народныхъ происшествій, ни одна стѣна преданій семейныхъ? Отъ этого мы видимъ у себя цѣлыя поколѣнія безъ воспоминаній историческихъ, безъ преданій. Ветхость, ненужность жилищъ, пріучая умъ къ частой перемѣнѣ, дала характеру Русскаго народа какую-то без-

нечность. Каждый живетъ дома, какъ въ гостяхъ. Не заботится о выгодахъ жизни, и долговременныхъ занятіяхъ, о прочныхъ издѣліяхъ. Въ животѣ и добрѣ Богъ воленъ, говоритъ онъ: можетъ, завтра же все сгоритъ — и вслѣдствіе этой философіи, онъ дѣлаетъ все какъ нибудь, и только на текущій день. Стоитъ ли украшать, починивать домъ, котораго паденіе онъ можетъ расчитать по пальцамъ? Эта беззаботность подъ угрюмымъ небомъ сѣвера простирается и на все, его окружающее. Онъ на все глядитъ спокойно, пока гроза не грянетъ надъ нимъ — а тогда уже поздно. Однимъ словомъ, глядя на характеръ земляковъ моихъ, на ихъ поступки, на ихъ жилье, право, кажется, что они стоятъ кочевьемъ, что для нихъ не существуетъ завтра.

Выше я говорилъ болѣе о простомъ народѣ. Однако и на высшій классъ деревянное жилье не менѣе дѣлаетъ вліянія. Мы родимся или, по крайней мѣрѣ, воспитываемся въ городахъ, а города (исключая столицы) наибольшею частію деревянные. Память людей знаменитыхъ гибнетъ съ жилищами ихъ, не какъ въ чужихъ краяхъ, гдѣ даже вымышленные герои освятили именами своими мѣста и зданія, гдѣ каждый камень говоритъ сердцу,

воспламеняетъ умъ. И такъ, не успѣвая полюбить домы свои, потому что они мѣняются или перемѣняются ежегодно, не успѣвая даже взять животную къ нимъ привычку, мы уѣзжаемъ, и возвращаясь чрезъ долгое время на родину, не узнаемъ мѣста крова нашего дѣтства. И вновь покидаемъ его безъ сожалѣнія, какъ сперва тамъ жили равнодушно. Потомъ строимъ сами карточные домики, лишь бы это было скоро; и проведя весну безцвѣтную, скучаемъ наслѣдникамъ своимъ безплодною осенью. И вотъ почему, недовольные собою, мы всегда готовы прельщаться другими странами; ибо тамъ, гдѣ нѣтъ страсти къ своему, тамъ скоро явится пристрастіе къ чужому. Унизительное предпочтеніе иноземцевъ, къ несчастію, слишкомъ это доказываетъ.

1825 года.

НОВЫЙ РУССКІЙ ЯЗЫКЪ.

Всякое званіе имѣетъ у насъ свое нарѣчіе. Въ большомъ кругу поддѣлываются подъ jargon de Paris. У помѣщиковъ всему своя *кличка*. Судьи не бросили еще *понеже* и *поелику*. У журналистовъ воровская латынь. У романтиковъ особый словарь туманныхъ выраженій; даже у писарей и солдатъ свой праздничный языкъ. Въ каждомъ классѣ, въ каждомъ званіи, отличная тарабарщина: никто съ разу не пойметъ другаго, и въ этомъ-то вся претензія, чтобъ, не думавши, заставить думать; но купчики, пуще всего купчики, любятъ говорить смысока, то есть, сбирать кучу словъ безъ связи и смыслу. Вотъ образчикъ:

Вхожу въ трактиръ на станціи: двое купцовъ въ сибиркахъ играютъ на биллiардѣ. Мнѣ приносятъ самоваръ; пью чай.

Купецъ поменьше (*бьетъ*). Ахъ, далъ *скользя!* 42 и 10.

Купецъ постарѣе. Не въ ударѣ, братъ, не въ ударѣ. (*бьетъ*) Ась, каково? — да еще *верхнимъ подходцемъ!* 45 и 10.

Купецъ поменьше. Вамъ можно *отыгрываться* и на удалую, партія въ дорогъ-съ. Вотъ и мы *напатцемъ* доѣхали.

Партія кончилась, и купчикъ постарѣе, посчитавъ съ другимъ, подходитъ ко мнѣ охорашиваясь и потряхивая кудрями. Позвольте попросить позволенія узнать, съ кѣмъ то есть имѣемъ осчастливленную честь говорить-съ?

Я. Я не говорю съ вами.

Онъ. Такъ-съ, всенепремѣнно-съ, дѣло дорожное-съ! Я вѣдь впрочемъ не для ради чего иного прочаго, а такъ изъ кампанства, хотѣлъ только, утрудивъ, побезпокоя васъ, попросить соблаговоленія, чтобы нашему чайнику вольнѣть соединяемое куппосообщеніе съ этимъ самоваромъ съ. Попросту такъ сказать-съ, малую толику водицы-съ!

Сначала я думалъ, что это мистификація; потомъ мнѣ стало скучно; потомъ и сонъ.

что я такъ небрежно отвѣчалъ этому сплетателю глупостей. Я старался всѣми учтивостями сгладить слѣды перваго впечатлѣнія: самоваръ кипѣлъ, — и какое Русское сердце не распарится отъ него какъ сухарь! Мало по-малу у насъ завелся ужь и политическій разговорецъ. Старшій купчикъ, поглаживая свою подстриженную бородку, смотритъ на лубочный портретъ Кульнева.

Вотъ, батюшка, была въ 12мъ то году кампанія, такъ ужъ кампанія-съ! ужъ можно сказать, что *баталь!* Французскія всѣ арміи да и войски уничтожительно истреблены съ двунадесятью языки, и подъламъ супостату-съ. Вся антрель теперь въ Москвѣ лежитъ: пушекъ-съ какъ моркови. Позвольте, къ слову стало, узнать-съ, достохвальный и знаменитой генералъ Кульневъ, въ конномъ или въ кавалерицкомъ полку служительство проводить быть имѣлъ?

Я. Онъ служилъ въ гусарахъ.

Онъ. Такъ-съ. *(Обращается къ товарищу)* А ты споришь, что въ кавалеріи. *(ко мнѣ)* Ученье свѣтъ, неученье тма-съ. Съ нашимъ удовольствіемъ благодареніе приносимъ, что изволили объяснить-съ. А этотъ храбрый генералъ-маіоръ Кульневъ-съ и въ чины происходить къ повышенію производство въ томъ же полку благоволилъ-съ?

Я. Помнится, въ одномъ и томъ же.

Онъ. По всему видно, что герой-съ. А онъ на полѣ чести или на полѣ брани животъ за отечество положить удостоенъ-съ?

Я. Онъ былъ смертельно раненъ на полѣ сраженія.

Онъ. А вотъ этотъ простякъ говоритъ, что на полѣ брани-съ!

Я. Мнѣ кажется, это все равно.

Онъ. Такъ-съ. Справедливо изволите имѣть таковое умственное разсужденіе въ мысляхъ-съ. Я и самъ, то есть, по своей комплекціи, думаю, что онъ навѣрно былъ славно знаменитъ-съ, коли ему въ памятное воспоминаніе-съ не даромъ Высочайшимъ утвержденіемъ учрежденъ орденъ-съ!

Я. Какой орденъ?

Онъ. А желѣзной-то *Кульневской* съ серебряными крешками-съ.

Мнѣ нѣкогда было разувѣрять его, что это не Кульневской, а Кульмскій крестъ. О невѣжество! о слава! подумалъ я, садясь въ сани.

1833 г.

МОРЕХОДЪ НИКИТИНЪ.

(Былъ.)

A sail, a sail — a promised prize to hope!
Her nation, flag? what speaks the telescope?
She walks the waters like a thing of life
And seems to dare the elements to strife
Who would not brave the battle fire, the wreck,
To move the monarch of her peopled deck?*

Byron.

Въ 1811 году, въ іюлѣ мѣсяцѣ, изъ устья Сѣверной Двины выходилъ въ море небольшой карбасъ. Надо вамъ сказать, что, въ 1811 году въ іюлѣ мѣсяцѣ, точно такъ же какъ въ настоящемъ 1834 году, до котораго мы дожили по милости Божіей и по увѣренію кален-

* Корабль, корабль! — надежда на призъ! Какой онъ націи, подъ какимъ флагомъ? Что говоритъ зрительная труба? онъ идетъ по волнамъ какъ одушевленный; онъ, кажется, вызываетъ на бой стихіи. Кто побоится огня, воды, чтобъ только пройтись властелиномъ по этому многолюдному деку!

даря академіи, старушка Сѣверная Двина выливала огромный столбъ водъ своихъ прямо въ Сѣверный Океанъ, споря дважды въ день съ приливомъ, который самымъ безсовѣстнымъ образомъ вторгался въ ея завѣтные омуты, и превращалъ ея сладкія, благородныя струйки въ простонародный разсолъ, годный развѣ для трески. Обязанъ я вамъ и объяснить по долгу литературной совѣсти, что карбасомъ, въ тѣ поры, какъ досель, — называлось судно шагомъ пятнадцать длиннику, на шесть ширины, съ двумя мачтами однодревками, полусшитое корнями, полусбитое гвоздями, изъ которыхъ едва-ль пятая часть были желѣзные. Палубы на карбасѣ обыкновенно не полагалось, на кормѣ и на носу небольшіе навѣсы образовали конурки, гдѣ, на кучахъ клади, только Русская спина, и только одна спина, могла уютиться, скрутись въ три погибели. Въ слѣдствіе чего, какъ вы сами усмотрѣть благоволите, въ середину судна бѣлый свѣтъ и воздушная вода, сверху и снизу, справа и слѣва, могли забѣгать и проживать безданно, беспошлинно. Посудина эта, или выражаясь учтивѣе, этотъ корабль, а слово «корабль», замѣтьте, произвожу я отъ «короба», а коробъ отъ «коробить», а коробить отъ «горбить», а горбъ отъ «горы»: надѣюсь, что это ясно; какіе-то

подкидыши этимологи производятъ «корабль» отъ какого-то греческаго слова, котораго я не знаю, да и знать не хочу, но это напраслина, это ложь, это клевета, выдуманная какимъ-нибудь продавцемъ грецкихъ орѣховъ: я, какъ вы изволите видѣть, коренной Русской, происхожу отъ Русскаго корня и выросъ на Русскихъ корешкахъ, за исключеніемъ биквадратныхъ, которые мнѣ пришлись не по зубамъ; а потому, за секретъ вамъ скажу, терпѣть не могу ничего заморскаго и ничему иностранному не вѣрю, — и такъ этотъ корабль, то есть, этотъ карбасъ, весьма походилъ на ладію, или ладью, или лодку, древнихъ Нордманновъ, а можетъ-статься и Аргонавтовъ, и доказывалъ похвальное постоянство Русскихъ въ корабельной архитектурѣ; но съ тѣмъ вмѣстѣ доказывалъ онъ и ту истину, что мы съ неуклюжими карбасами наслѣдовали отъ предковъ своихъ Славено-Руссовъ отвагу, которая бы сдѣлала честь любому hot pressed, силой завербованному морику, танцующему подъ свистокъмъ лощеной палубѣ Англійскаго man of war, линейнаго корабля или, сифилисному *Янки*, бѣгущему крѣпить штыкъболтъ по рей Американскаго шунера *.

Да-съ! Когда подумаешь, что Русской

* Въ насмѣшку Англичане называютъ Сѣверо-Американцевъ — Yankee.

мужичокъ-промышленникъ, мореходъ, на какой-нибудь щепкѣ, на шитикѣ, на карбасѣ, въ кожаной байдарѣ, безъ компаса, безъ картъ, съ ломтемъ хлѣба въ карманѣ, плывалъ, хаживалъ на Грумантъ, — такъ зовутъ они Новую Землю, — въ Камчатку изъ Охотска, въ Америку изъ Камчатки, такъ сердце смѣется, а по кожѣ мурашки бѣгаютъ. Около свѣта опоясать? Копѣйка! Послушайте, какъ онъ говоритъ про свои странствія, про которыя бы Французы и Англичане и въ пѣсняхъ не напѣлись, и въ колокола не назвонились, и вы убѣдитесь, что труды и опасности для него игрушка. «Забрались мы къ Гебридскимъ, да оттуда *на переваль* въ Бразилію, въ золотое царство махнули. Изъ Бразиліи *перетолкнулись* въ Камчатку, а оттоль вѣдь на Ситку-то *рукой подать!*» Вотъ этакихъ удальцовъ подавай мнѣ, — и съ ними хоть за живой водой посылай! Окіанъ встрѣлся? — окіанъ шапками вычерпаемъ; Пещаное море? — какъ тавлинку вынюхаемъ! Ледяныя горы? — вмѣсто леденца сгрыземъ! Гдѣ жъ эта сударыня Невозможность запропастилась? Выходи, — авось на подметки намъ пригодится! Подъ кѣмъ добрый конь авосьмасти, тому лѣсъ не лѣсъ, рѣка не рѣка: куда ни поскачетъ, дорога; гдѣ ни обернется, просторъ. На кита?

такъ на кита, экая невидаль! зубочисткой заострожимъ! На бѣлаго медвѣдя? щелкомъ убьемъ; а въ красный часъ, и лукавой подъ руку не подвертывайся. Намъ ужъ не впервые на зубахъ у него гвозди ковать, въ носъ колечко вдѣвать. Правду сказать, Русакъ тяжелъ на подъемъ; раскачать его трудно: за то ужъ какъ пойдетъ, такъ въ самоходахъ не догонишь. Куда лѣниво говоритъ онъ первое: «Ась?» По когда послѣ многихъ: «Да на что мнѣ это! Да къ чему мнѣ это! Живетъ и такъ; какъ-нибудь промаячимъ!» — доберется онъ до: «Пешто, попытаемъ!» да «Авось сдѣлаемъ,» — такъ раздайтесь, разступитесь: стопчетъ, и помнишь какъ звали! Онъ вамъ перехитритъ всякаго Нѣмца на каоедрѣ, разобьетъ Француза въ полѣ, и умудрится на заводѣ лучше любаго Англичанина. Не вѣрите? — окунитесь только въ нашу словесность, рѣшитесь прочесть съ начала до конца пламенныя статьи о безсмертныхъ часахъ съ кукушкою, о вліяніи родимыхъ макароновъ на нравственность и воспитаніе Виргинскаго табаку, — статьи столь пламенныя, что ихъ невозможно читать безъ пожарнаго камзола изъ асбеста, и вы убѣдитесь, что литературные геніи-самотесы на Руси такъ же обыкновенны, какъ сушеные грибы въ ве-

ликій постъ; что мы ученѣе ученыхъ, ибо довѣдались, что науки вздоръ; что пишемъ мы благонравнѣе всей Европы, ибо въ сочиненіяхъ нашихъ никого не убиваютъ кромѣ здраваго смысла.

Но къ дѣлу. Въ 1811 г. еще ни одинъ пароходъ не пугалъ своими шумными колесами рыбнаго народа въ рѣкахъ Русскихъ; и потому Двинскія рыбки безбоязненно высовывали головки свои, чтобы полюбоваться на вороной какъ смоль карбасъ и тѣхъ, которые имъ правили. Вотъ физіологическія подробности, полученныя мною отъ одной изъ очевидицъ, щуки: несмотря на Архангелогородскую соль и непривычное ей путешествіе въ розвальняхъ, слогъ этой щуки такъ цвѣтистъ, какъ-будто бы она кушала сочинителей всѣхъ темныхъ, пестрыхъ, и голубыхъ сказокъ; должно думать, что предметы, отражаясь въ тысячѣ граней рыбьихъ глазъ, производятъ необыкновенное разнообразіе впечатлѣній въ ихъ мозгѣ; образчикъ прилагается въ подлинникѣ.

Рѣка, — рыбы всегда начинаютъ рѣчь съ своего отечества, съ своей стихіи: благоразумныя рыбы! въ этомъ онѣ ни сколько не слѣдуютъ сосцепитательнымъ сочинителямъ, которые всего болѣе любятъ говорить о томъ, что они знаютъ наименѣе, — рѣка чуть струилась;

корабль катился быстро, напутствуемый теченьемъ и вѣтромъ; пологіе берега незамѣтно текли мимо его, и если бъ кой-гдѣ стоящія на якоряхъ суда не оказывали бѣга судна какъ поверстные столбы, то пловцы въ карбасѣ могли бы подумать, что они неподвижны: столь однообразно-пусты, такъ безмолвномертвы были окрестныя тундры. Тогда еще не видно было на берегахъ Двины сахарныхъ и канатныхъ заводовъ, и ни одна верфь не готовила бросить въ воду юныхъ скелетовъ корабельныхъ, еще не одѣтыхъ дубовою плотью. На всемъ пространствѣ отъ Соломбола до устья, не встрѣтилось имъ ни одной живой души, хотя разноцвѣтный мохъ подернутъ былъ оранжевою ягодой морошки....

—Отличное противоскорбутное средство! замѣчаетъ мой пріятель, медикъ. Природа помѣщаетъ всегда противуядіе вблизи яду: какъ мнѣ извѣстно, морошка составляетъ теперь отрасль торговли Придвинскаго края: ея для Англійскаго флота вывозятъ тысячами сороковыхъ бочекъ.

....Морошки, раскинутой причудливыми узорами, подобно фатѣ сѣверной красавицы....

—Лучше бы сказать, подобно Русскому ситцу, говоритъ одинъ женатый помѣщикъ: по-

тому что Русскіе синцы-самодѣлки точь-въ-точь морошка по болоту.

Рыба сморкаетъ носъ, и продолжаетъ:

Только одинокій журавль, царь пустыни, бродилъ тамъ, какъ ученый по части зоологіи....

Онъ, то есть, журавль, а не ученый, втыкалъ носъ въ мутную воду, въ жидкій илъ, и вытащивъ оттуда какого-нибудь червячка или пискаря, гордо подымалъ голову. Оглянувшись на карбасъ, онъ разсчиталъ глазомѣрно разстояніе, и, увѣрившись, что находится внѣ выстрѣла, погнался за рѣзвою лягушкою, безпечно качая хвостикомъ. Онъ нашелъ лягушку гораздо занимательнѣе людей.

И справедливо: баронъ Брамбеусъ хоть вовсе не похожъ на журавля, а чуть ли не того же мнѣнія. — Лягушекъ не лягушекъ, скажетъ онъ, а что устрицъ я всегда предпочту людямъ! во-первыхъ, древность происхожденія устрицъ глубже всякой лѣтописи и несомнѣннѣе Несторовой, такъ, что самъ баронъ Кювье не отыскалъ пятна въ ихъ предпотопной генеалогіи; вовторыхъ, онѣ постояннѣе Китайцевъ въ своихъ мнѣніяхъ: родятся себѣ и умираютъ у скалы, къ которой приросли, и съ доброй воли не дѣлаютъ фантастическихъ пу-

тій; и въ третьихъ, не заводить въ ста-
морѣ юной литературы.

ля по хладнокровію или, лучше сказать,
печности, съ какою четверо мореходцевъ,
ляшихъ экипажъ карбаса, спускались
умный бурунъ, образованный борьбою
й воды съ напоромъ возникающаго при-
ихъ можно было бы зачислить въ Ва-
ую дружину, не подводя подъ рекрут-
мѣру. На рулѣ сидѣлъ здоровый моло-
лѣтъ двадцати семи: волосы въ кружокъ,
ъ скобку, и бородка чуть-чуть закудря-
ь; на щекахъ румянецъ, обѣщавшій не
ть до шестидесяти лѣтъ, съ улыбкой, ко-
не упорхнула бы ни отъ девятаго вала,
ъ самъ-девять сатаны; однимъ словомъ,
ѣетъ смѣлое и простодушное, без-
ное и рѣшительное; физіономія настоя-
Сѣверная, Русская.

одеждѣ, онъ принадлежалъ къ переход-
породамъ. На головѣ Англійская пухо-
ляпа, на тѣлѣ суконный жилетъ съ сере-
ыми пуговицами: за то красная рубашка
калась по-Русски на китайчатые шарава-
а сапоги, по модѣ, сохранившейся у насъ
ремень Куликовской битвы, загибали свои
ые носки къ верху. Но самодовольнымъ
дамъ, которые бросалъ нашъ рулевой на

изобрѣтенный имъ топсель, вздернутый сверхъ рейковаго паруса,—онъ принадлежалъ къ школѣ нововводителей. У средней мачты, въ парусинной куркѣ и въ такихъ же брюкахъ, просмоленныхъ до непроницаемости, сидѣлъ старикъ лѣтъ за пятьдесятъ, у котораго благословенная бородища была въ явномъ разладѣ съ кургузымъ матрозскимъ платьемъ: явленіе странное всегда, и нерѣдкое до сихъ поръ. Издавна ходилъ онъ по морямъ на корабляхъ купца Брандта и компаніи, но напрасно уговаривали его хозяева обрить бороду. Ураганы могли теребить ее, море вцѣплять въ нее свои ракушки, вкроплять соляные кристаллы, случай заѣдать въ блокъ или въ захлестъ каната; но владѣтель ея былъ непоколебимъ ни насмѣшками юнговъ, ни ударами судьбы. Онъ не возлагалъ даже на нее постризала, и она, въ природной красѣ, во весь ростъ разстплалась по груди и по плечамъ упрямца. Дядя-Яковъ, такъ звали этого чудака, сидѣлъ на бочепкѣ Русскаго элемента, квасу, и сплѣснивалъ, то есть, стращивалъ веревку. У ногъ его почти лежалъ молодой парень лѣтъ двадцати, упершись ногою въ бортъ и придерживая руками шкотъ, угловую веревку паруса. По его свѣжему лицу, по округлымъ, еще неизломаннымъ опытностію чертамъ, по любо-

цытетву, съ какимъ поводилъ онъ вкругъ глазами, даже по неловкости его, больше чѣмъ по покрою кафтана, можно было удостовѣриться, что онъ не просоленой морякъ, новобранецъ, только что изъ села.

На носовомъ помостѣ лежалъ ничкомъ, свѣся голову за бортъ, коренастый мореходъ съ физіономіей, какія отливаетъ природа тысячами для вседневнаго расхода. Не на что было повѣсить на ней ни какого чувства, а мысль, будь она кована хоть на всѣ четыре ноги, не удержалась бы на гладкомъ его лбу. Онъ поплевывалъ въ воду, и любовался, какъ струя уносила изображеніе его жизни, и потомъ запѣвалъ: «Охъ не одна! эхъ, не одна»! — и опять поплевывалъ. Онъ принадлежалъ къ безконечному ряду практическихъ философовъ, которые разрѣшаютъ жизнь самымъ безмятежнымъ образомъ,—работать когда нужно, спать когда можно.

Молодой человѣкъ, сидѣвшій на рулѣ, былъ полный и законный хозяинъ карбаса вмѣстѣ съ грузомъ, и временной командиръ, капитанъ, или воевода дяди Якова, Алексѣя, племянника по его сердцу, и неизбѣжнаго Ивана по сердцу всему свѣту. Оставшись сиротою на двѣнадцатомъ году возраста, онъ, какъ большая часть удалыхъ ребятъ Архангельской губер-

ніи, нанялся юнгою на Англійскій купеческій корабль и мыкался бурями и волнами до двадцати двухъ лѣтъ, имѣя удовольствіе получать щелчки отъ шкиперовъ всѣхъ націй и побранки на всѣхъ языкахъ. Наскучивъ безпріютною жизнію матроскою, онъ присталъ къ истинно почтенному классу биржевыхъ артельщиковъ, людей испытанной честности, трезвыхъ, дѣятельныхъ, смышленыхъ, и потомъ взятъ съ хорошимъ жалованьемъ въ контору одного изъ богатѣйшихъ иностранныхъ купцевъ Архангельска. Черезъ шесть лѣтъ онъ былъ уже въ состояніи покинуть чужое гнѣздо. Его томила охота отвѣдать своего счастья, поторговать на свое имя, — и вотъ онъ купилъ и снарядилъ карбасъ, — и вотъ онъ теперь уже въ пятый разъ, въ другое лѣто, пускается въ море.

Впрочемъ никогда еще Савелій Никитичъ,— это было его имя, — не пускался въ море съ такимъ запасомъ веселости, какъ этотъ разъ. Причину тому я знаю,—да и чего я не знаю? не хочу таить ее за душой. Онъ, — въ добрый часъ молвить, въ худой помолчать, — задумалъ жениться. Дочь его сосѣда, также Архангельскаго мѣщанина, какъ онъ самъ, Катерина Петровна, прелестная, какъ всѣ Катерины вмѣстѣ, и милонидная, какъ ни одна изъ

Катеринъ, до сердца приглянулась нашему плавателю. Его воображеніе, изощренное морскимъ воздухомъ, и во снѣ ни чего не грѣзило свѣжѣе, умнѣе и достойнѣе этой русской красавицы. Ему всего болѣе понравилось, что она порядкомъ отбояривала отъ себя молодыхъ флотскихъ офицеровъ, которые, сверхъ обязанностей по службѣ, берутъ на себя образованіе молодыхъ дѣвушекъ во всѣхъ портахъ пяти частей свѣта. Однимъ словомъ и наконецъ, онъ, раскинувъ умомъ разумомъ, подвелъ итоги своихъ кармановъ, пригладилъ голову кваскомъ, и, благословясь, пошелъ сватать свою зазнобу къ отцу ея. Съ самой Катериной Петровной онъ, должно быть, давно стакнулся; и хоть я не былъ свидѣтелемъ, да ужъ на свой страхъ говорю вамъ, что молодежь моя промѣняла между собой не одну клятву любви и вѣрности съ приложеніемъ взаимныхъ поцѣлуевъ. Какъ быть, милостивые государи! въ торговлѣ всегда есть контрабанда, въ сватовствѣ потаенныя сдѣлки.

Савелій разчувствовался; упалъ на колѣни передъ отцемъ Катеньки, просить благословенія.

Старикъ отецъ погладилъ его по головѣ, и поднялъ; погладилъ себя по бородѣ, и сказалъ:

— Послушай, Савелій Никитичъ! ты добрый человѣкъ, ты смышленый и честный парень: спасибо, что пришелъ ко мнѣ прямо безъ свахъ, и тебѣ я скажу прямо безъ обиняковъ, — ты мнѣ по душѣ, я не прочь породниться съ тобою; однако . . .

Охъ, ужъ мнѣ это однако вотъ тутъ сидитъ, съ тѣхъ еще поръ, какъ учитель хотѣлъ было, по его сказамъ, простить меня за шалость, однако высѣкъ для примѣра; съ тѣхъ поръ какъ мой искренній другъ и моя вѣрнѣйшая любовница клялись мнѣ въ привязанности, и за словомъ, однако, надули меня . . . Однако жъ оставимъ это «однако.»

Савелій, не смѣя дохнуть, стоялъ передъ старикомъ, высасывалъ глазами догадки изъ его лица, но слово «однако», произнесенное съ такою разстановкою, что между каждымъ слогомъ уложиться могло по двадцати сомнѣній, распилило его сердце пополамъ, и опилки брызнули во всѣ стороны.

— Од-на-ко (послѣ *ко* двѣ черточки), — произнесъ старикъ, и почесалъ въ затылкѣ, потому что затылокъ есть чердакъ человѣческаго разума, въ который сваливаютъ весь хламъ предразсудковъ, всю ветошь правоученій, колодки давно стоптанныхъ мнѣній и вѣрованій, битыя фляжки изъ-подъ воображенія; или,

лучше сказать, онъ гостинодворская, темная, задняя лавка, въ которую обыкновенно заводятъ пріятеля-покупателя, чтобы сжить съ рукъ полинялый, староманерный товаръ. — Однако, Савелій Никитичъ! вѣдь не мнѣ жить съ тобой, а дочери; а за ней приданое не рогато. Я и самъ съ копѣйки на копѣйку перепрыгиваю. Радъ бы душой, да кусъ не большой: у меня же сыновья подростки. Опять, и дочери своей мнѣ не хочется видѣть въ нуждѣ, лучше заживо въ землю закопаться. Впрочемъ вкругъ Катеньки, самъ ты извѣстенъ, женихи словно хмѣль увиваются.

— Пропала моя головушка! подумалъ Савелій.

— Не въ укоръ тебѣ будь помянуто: покойникъ батюшка твой сидѣлъ въ лавочкѣ, да выѣхалъ изъ ней на палочкѣ: благодаря мичманамъ, проторговался; поплатился добромъ за свою простоту, и пустилъ тебя круглымъ сиротою кататься словно мѣдный грошъ по бѣлусвѣту. Не осуди, братъ Савелій! имя твое знаю я, отчество знаю, а животовъ не знаю. Скажи мнѣ какъ на духу: есть ли на что у тебя хозяйствомъ обзавестись, да себѣ на прожитокъ, и дѣтямъ на зубокъ придобыть?

Савелій вытащилъ бумажникъ, показалъ ему свои аттестаты, выложилъ тысячу рублей чи-

стагапу, да еще тысячи на полторы квитанцій купленнымъ товарамъ: это для мѣщанина не бездѣлица.

— Притомъ я имѣю судишко и кредитъ, сказалъ онъ, ношу голову на плечахъ и, благодаря Создателя, не пустоголовъ, не сухорукъ. Прошлой годъ, я выгодно продалъ въ Соловкахъ свои товары, былъ тамъ и по веснѣ: да если съ тобой поладимъ, такъ съ жениной легкой руки въ Спасово заговѣнье опять пущусь. Что жъ, Миронычъ: аль другіе-то лучше меня? Позволь!

— Ну, Савелій, руку! Только свадьбѣ быть послѣ Спаса. Ты напередъ съѣздишь въ Соловки, да собьешь копѣйку на обзаводство; а то съ молодой женой ростямъ конца не будетъ. Не поперечь мнѣ, Савелій, у меня слово съ заклепомъ.

— Это очень хорошо! сказалъ Савелій — Это очень плохо! подумалъ Савелій.

Но дѣлать было нечего: довелось согласиться на отсрочку. Благословили образомъ, обручили, а между-тѣмъ, покуда подружки-голубушки шили Катѣ приданое, да пѣли, — между-тѣмъ, какъ отецъ и мать ея пили да плакали, карбасъ Никитина снарядился и нагрузился. Минута разлуки была уже за плечами, ужъ на плечѣ, ужъ распрамляла

крылья, чтобъ улетѣть, а наши милые, или, какъ выражаются Архангелогородцы, бажоные обрученники о томъ и думать не думали. Дядя Яковъ принужденъ былъ вытащить жениха отъ невѣсты волокомъ. Попутный вѣтеръ казался ему самою противною погодой; но вѣтеръ пересилилъ любовь. Савелій выпилъ послѣднюю каплю наливки, сорвалъ послѣдній поцѣлуй съ губокъ невѣсты. Сладка ему была капля, поцѣлуй еще слаще: вѣкъ не разстаться бы съ ними, однако онъ разстался. Ему надо было спѣшить уѣхать, чтобы поспѣшнѣе пріѣхать. Онъ прыгнулъ въ карбасъ, цѣпь съ громомъ скользнула со сваи, карбасъ отчалилъ.

Долго стояла Катя на набережной, провожая глазами суженаго, махая бѣлою рукой; сердце ея вѣщевало не на доброе: она залилась слезами и пошла домой, вытирая ихъ миткалевымъ рукавомъ своей сорочки. Съ Савельемъ было не лучше: покуда видна была Катя, онъ оглядывался, долого, что чуть шеи не вывихнулъ, а потомъ взгляды его ныряли въ воду, —словно, онъ обронилъ туда свое сердце, — словно, онъ съ досады хотѣлъ ими зажечь струю разлучницу. И наконецъ переполненный горечью сосудъ пролился: слезы брызнули изъ глазъ бѣдняги въ три ручья, — и-

менно въ трп, потому что двѣ струйки сли-вались у него на носу и катились внизъ рѣ-кою, точь-въ-точь какъ Югъ и Сухона обра-зуютъ Сѣверную Двину. Это однако жъ об-легчило Савелья; онъ отдохнулъ; доброе солнышко такъ весело взглянуло ему въ очи, что онъ улыбнулся; вѣтеръ спахнулъ и вы-сушилъ даже слѣды слезъ: вотъ, и надежда-летунья начала заигрывать съ его думою. И чего, въ самомъ дѣлѣ, доброму молодцу было печалиться? Впереди его —золото, на-зади—любовь!... Правда, между этими окопе-чностями лежали двѣ бездны моря, усаже-нныя опасностями отъ бурь и каперовъ,—тогда съ Англичанами была война,— да вѣдь Богъ не безъ милости, кавакъ не безъ счастья: не въ первый разъ ему было съ моремъ перевѣ-дываться. Пять часовъ пути и шестьдесятъ верстъ разстоянія прокрались мимо, какъ бѣг-лецы, и вотъ почему пятъ Савелій такъ без-заботно, такъ весело пускалось въ бурунъ раз-граничивающій соленую воду отъ пресной.

И шибко, со всего разбѣга, ухнулъ остро-грудый карбасъ въ бой шумящаго, плещущаго бара, — такъ шибко, что брызги засверкали, и разсыпчатая пѣна обдала пловцевъ съ голо-вы до ногъ. Карбасъ черпнулъ. Испуганный, облитый, Алексѣй выпустилъ изъ рукъ

своихъ; парусъ заполоскался, карбасъ возникъ, набѣжалъ на хребетъ вала, и мигомъ, стрекнувъ, прожикнулъ сквозь водяную грядку. Чрезъ пять минутъ онъ гоголемъ плылъ уже по морю, которое съ ропотомъ наступало на берега.

— Что, Алексѣй, спросилъ новобранца Савелій, усѣхавшись: аль тебѣ не любы крестины морскою водою?

— Хороши, отвѣчалъ Алексѣй, вытирая лице: только безъ каши и крестины не въ крестины.

— Погоди, братъ Алеша, мы тебя въ солевой купели выкупаемъ. Тогда ужъ съ весломъ и за кашу посадимъ тебя, — поѣсти, да и въ ротъ попеси, — кушай, да похваливай. Захочешь ли браги, — брага у насъ пивучка: велено вино съ пѣнкой не купленым, не мѣреным, — пей, сколько въ душу войдетъ.

— Спасибо на ласкѣ! Подноси сперва старшимъ, дядюшка, лукаво отвѣчалъ Алексѣй.

— Ты въ морѣ гость, мы хозяева, сказалъ Савелій: а гостей подчуютъ не по лѣтамъ.

— Однако, молвилъ дядя Яковъ, оглядывая въ дозоръ небосклонъ: не придержать ли намъ на ветеръ-то вдоль берега? Что-то очень парить: словно пыль пылитъ надъ тундрою. Подымется, не ровенъ часъ, разыграй-царе-

вичъ, — такъ и намъ въ открытомъ морѣ бо
бѣды бѣда придетъ.

— Волка бояться, въ лѣсъ не ходить, д
дя Яковъ! возразилъ Савелій. Вѣтеръ слови
кладъ, не во всякую пору дается: умуетим
его, такъ трудно будетъ на него карабкатьс
послѣ. А когда теперь на Пордъ-Пордъ-Вест
заберемся, такъ ужъ повѣтерь-то какъ по ма
лу скатимъ въ Соловки, когда надумается. Н
бо чисто.

— Нешто! сказалъ дядя Яковъ, и принял
ся доплетать узелъ веревки.

— Вѣстимо такъ! сказалъ Алексѣй, как
будто что-нибудь поналъ, и принялся зѣват
въ обоихъ значеніяхъ этого слова. Иванъ н
разсуждалъ, и не говорилъ: онъ поплевывал
въ море. Савелій, по привиллегіи, данной всѣм
людямъ, у которыхъ звенитъ что нибудь в
головѣ или въ карманѣ, строилъ воздушны
замки. Карбасъ, пятое дѣйствіе нашей драмы
покачиваясь съ боку на бокъ, изволилъ плыт
да плыть въ необъятное море.

День шелъ въ гости къ вечеру. Прибережь
никло; островокъ Мудюгъ, стоящій на часах
у входа въ Двину, окунывался и опять выгля
дывалъ, и опять окунывался въ воду. Скор
земля слилась въ темную полосу, въ черту ед
ва видную; валъ заплеснулъ и эту черту, —

прощай моя родина! Бездонное небо, безбрежное море обнимаетъ теперь утлое судно. Только вольный вѣтеръ, да рыскучія волны напѣваютъ ему въ ладъ свою вѣчную, непонятную пѣсню, возбуждая думы неясныя о томъ, что было и что будетъ, о томъ, чего никогда не было и никогда не будетъ.

Не знаю, случалось ли вамъ испытать чувство разлуки съ роднымъ берегомъ на нѣру зыбкой стихіи. Но я испыталъ его самъ; я слѣдилъ его на людяхъ съ высоко-настроенною организаціею, и на людяхъ самыхъ необразованныхъ, намозоленныхъ привычкою. Когда почувствуешь, что якорь отдѣлился отъ земли, мнится, что развязывается узелъ, крѣпившій сердце съ землею, что лопаетъ струна этого сердца. Груди становится больно и легко невообразимо! . . . Корабль бросается въ бѣгъ; надъ головой вьются морскія птицы, въ головѣ роятся воспоминанія, онѣ, одни гонцы неутомимые, несутъ вести кораблю о землѣ, имъ покинутой, душѣ о быломъ невозвратномъ. Но тонетъ и послѣдняя альціона въ пучинѣ дали, и послѣдняя поминка въ душѣ. Новый міръ начинаетъ поглощать ее. Тогда-то овладѣваетъ человѣкомъ грусть неизъяснимая, грусть уже неземная, не земляная, но еще и не вовсе небесная, словно откликъ двухъ міровъ, двухъ су-

ществованій; развитіе безконечнаго изъ точекъ ограниченнаго; чувство не сжимающее, а расширяющее сердце, чувство разъединенія съ человѣчествомъ, и сліянія съ Природою. Я увѣренъ, оно есть задатокъ перехода нашего изъ времени въ вѣчность, діэзъ изъ октавы кончины.

И неслышимо природа своей бальзамическою рукою стираетъ съ сердца глубокіе, поющіе рубцы огорченій, вынимаетъ занозы раскаянія, отвѣваетъ прочь думы-смутницы. Оно лепѣетъ, хрусталѣетъ, — какъ-будто лучи солнца, отразясь о поверхность океана и пропзая чувства во всѣхъ направленіяхъ, передаютъ сердцу свою прозрачность и блескъ, обращаютъ его въ звѣзду утреннюю. Вы начинаете тогда разгадывать вѣроятность мнѣнія, что вещество есть свѣтъ, поглощенный тяжестію, а мысль, нравственное солнце, духовное око человѣка, сосредоточивая въ себѣ міръ, есть вещество, стремящееся обратиться опять въ свѣтъ, посредствомъ слова. Тогда душа пьетъ волю полною чашею неба, купается въ раздольѣ океана, и человѣкъ превращается весь въ чистое, безпятежное, святое чувство самозабвенія и міропевѣдѣнія, какъ младенецъ, сейчасъ вынутый изъ купели и дремлющій на зыби материнской груди, согрѣтый ея дыханіемъ, улелѣянный ея пѣснію. О, если бъ я

могъ вымолить у судьбы, или обновить до жизни памятью нѣсколько подобныхъ часовъ! я бы . . .

— Я бы тогда вовсе не сталъ читать вашихъ разсказовъ, говоритъ мнѣ съ досадою одинъ изъ тѣхъ читателей, которые непремѣнно хотятъ, чтобъ герой повѣсти безпрестанно и безсмѣнно плясалъ передъ ними на канатѣ. Случись ему хоть на мигъ вывернуться, они и давай заглядывать за кулисы, забѣгать черезъ главу: — Да гдѣжь онъ? Дачто съ нимъ сталось? да не убился ли онъ, не убитъ ли онъ, не пропалъ ли безъ вѣсти? — Или что того хуже: — Неужто онъ до сихъ поръ ничего не сдѣлалъ? Неужто съ нимъ ничего не случилось?

— Я бы вовсе не сталъ тогда читать вашихъ разсказовъ, г. Марлинскій, потому что, — извините мою откровенность, — я уже не разъ и не въ тихомолку зѣвалъ при вашихъ частыхъ, сугубыхъ и многократныхъ отступленіяхъ. Хоть бы вы за наше терпѣніе перекувыркнули вверхъ дномъ этотъ проклятый карбасъ, который ползетъ по водѣ какъ черепаха по каменьямъ. Такъ нѣтъ, сударь: всплылъ, какъ всплылъ. Думаемъ, вотъ сцапаетъ онъ Савелья за вихоръ, минуя брантъ-вахту, и откроетъ въ немъ какого-нибудь Наполеоновска-

го пролаза или морскаго разбойника. Ни тутъ-то было! Вмѣсто происшествій, у васъ химическое разложеніе морской воды; вмѣсто людей, мыльные пузыри, и, что всего досаднѣе, вмѣсто обѣщанныхъ приключеній, ваши собственныя мечтанія.

Я ничего вамъ не обѣщалъ, милостивый государь, говорю я съ возможнымъ хладнокровіемъ для авторскаго самолюбія, проколотаго на-вылетъ, самолюбія, изъ котораго еще капаетъ кровь по лезвею насѣшки. Ваша воля: читать или не читать меня; моя, писать какъ вздумается.

— Но, милостивый государь, я купилъ разсказъ вашъ.

Я не приглашалъ васъ; не бралъ васъ съ учтивостію за ворота, какъ это дѣлается въ свѣтѣ при раздачѣ лотерейныхъ билетовъ или билетовъ на концертъ для бѣдныхъ. Вы купили разсказъ мой, и можете сжечь его на раскурку, изорвать на заплатку усовъ, употребить на обертку вакса. Вы купили съ этимъ право бранить или хвалить меня; но меня самого вы не купили и не купите, и васъ предупреждаю. Перо мое смычекъ самовольный, помело вѣдьмы, конь наѣздника. Да: верхомъ на перѣ я вольный казакъ, и могу рыскать по бумагѣ, безъ заповѣди, куда глаза глядятъ. Я такъ и

дѣлаю: бросаю повода и не оглядываюсь назадъ, не расчитываю что впереди. Знать не хочу, заметаетъ ли вѣтеръ слѣдъ мой, прямъ или узоренъ слѣдъ мой. Перепрыгнулъ черезъ ограду, переплылъ за рѣку, хорошо; не удалось, тоже хорошо. Я доволенъ уже тѣмъ, что наскакался по простору, цѣликомъ, до устали. Надоѣли мнѣ битые укаты вашихъ литературныхъ теорій, chaussées, ваши вѣковѣчныя дороги изъ сосновыхъ отрубковъ, ваши чугунныя ленты и повѣшенные мосты, ваше катанье на деревянной лошадкѣ или на разбитомъ конѣ; ваши мартингалы, шлихъ-цигели и шпанишъ-рейтеры; бѣшенаго, брыкливаго коня сюда! Стени мнѣ, бури! Легокъ я мечтами, лечу въ поднебесье; тяженъ ли думами, ныряю въ глубь моря....

— И приносите со дна какую-нибудь ракушку.

Хоть бы горсть грязи, милостивый государь. Она все-таки будетъ свидѣтельницей, что я былъ на самомъ днѣ. Для купца дорогъ жемчугъ; естествоиспытатель отдастъ свой перстень за иную подходящую траву. Что прибавитъ жемчужина къ итогу счастья человѣческаго? А эта трава, можетъ быть, превратится въ свѣтлую идею, составитъ вѣно полезнаго зна-

ція. Желаю знать: купецъ вы или испытатель?

Читатель мой дворянинъ, не только личный, но, можетъ-статься, двуличный, наслѣдственный: онъ никакъ не хочетъ назваться купцемъ. Опять онъ терпѣть не можетъ и естествоиспытателей всѣхъ родовъ, которые ластаютъ, потрошатъ природу, разсѣкаютъ мозгъ, и сердце, и карманы человѣческіе вживѣ, будь они хоть пятаго класса, и ловятъ тамъ насѣкомыя мысли, пресмыкающіяся чувства. Да мало того, что они нашпиливаютъ все это на остроуміе и выставляютъ на благоразсмотрѣніе почтеннѣйшей публики: они подслушиваютъ у дверей кабинетовъ, заползаютъ подъ изголовья супружескія, втираются въ сѣни палатъ, подкапываются подъ гробы, проникаютъ всюду какъ золото, впиваются въ души какъ лесть, и потомъ, милости прошу! всѣ ваши тайны вынесены ужъ на толкучій.

— Нѣтъ, я не купецъ, не испытатель, говоритъ онъ: я просто читатель.

Я кладу свои замѣчанія въ умъ вашъ, какъ свои деньги въ ломбардъ: на имя неизвѣстнаго!

Вотъ, это по крайней мѣрѣ ясно и неоспоримо. Не надѣйтесь же получить болѣе четырехъ, законныхъ процентовъ, и этого вамъ за

глаза. Правда, я веду слово про Архангельскаго мѣщанина Савелья Никитина, и ручаюсь, что для Русскаго анекдоть этотъ будетъ занимателенъ, потому ужъ одному, что онъ не выдумка. Но кто вамъ сказалъ, что самъ я менѣе занимателенъ, чѣмъ Савелій Никитинъ? Знаете ли, сколько страстей перемололъ я своимъ сердцемъ? какіе чудные узоры начеканилъ міръ на моемъ воображеніи? и если бъ я вздумалъ перевесть съ души на ходячій языкъ свои опыты, мечты и мысли, вы, вы сами, сударь, нашли бы эти записки занимательными не менѣе записокъ «Трелонея» или «Послѣдней нескромности Современницы.»

— Ради Смирдина, сдѣлайте это поскорѣе, любезнѣйшій! И тисните въ большую осьмушку съ готическимъ заглавіемъ и съ виньеткою Жоанно. Я страхъ люблю виньетки и мемуары, особенно въ родѣ Видока. Даете вы слово? Скажите жъ — да! Полно-те упрямничать: снимите долой лѣнь свою!....

У насъ печатная сторона человѣка всегда будетъ походить на подкладку изъ однихъ афишъ комедіанта Цапата, въ Жилблазѣ; и вотъ почему, милостивый государь, если вы хотите узнать меня, то узнавайте кусочками, угадывайте меня въ стружкахъ, въ пасѣчкѣ, въ силавкѣ. Не мѣшайте жъ мнѣ разводить

собою разсказы о другихъ: право, не останетесь въ накладѣ.

Я поднимаю спущенную петлю повѣсти.

Савелій сидѣлъ задумавшись на рулѣ. Сердце его то вздувалось какъ парусъ, то опадало какъ волна. Чувство безпредѣльности завладѣло имъ, и тогда, на вопросъ — о чемъ ты думаешь? — онъ могъ бы отвѣчать, — ни о чемъ! по всей правдѣ; потому что всѣ мысли, всѣ ощущенія въ такіе часы подобны каплямъ, вдругъ улетученнымъ въ безвидные пары: онѣ разлиянны, смѣшаны, безграничны. Товарищи Савелья больше или менѣе погружены были въ такое же безотчетное, нѣмое созерцаніе и вниманіе Природы въ себѣ, и себя въ Природѣ; въ чувство сознанія, неразлучнаго событію, доступное, какъ я думаю, всѣмъ животнымъ.

Наконецъ племянникъ дяди Якова, который, по всей вѣроятности, не охотно разставался съ избой своей, и косой своей, и косой своей любушки, съ горѣлкой, и съ горѣлками, первый сломалъ общее молчаніе.

— Эка притча, подумаешь ты! Ухитрился же человѣкъ въ корытѣ по морю плавать, Бога искушать! Аль земля-то клиномъ сошлась? Аль на землѣ угодьевъ ему не стало?

— Молчалъ бы ты, молчалъ, возразилъ съ

досадою дядя Яковъ. Коли въ мореходы пошелъ, такъ по землѣ нечего тужить! Земля: эка невидаль! Видишь что выдумалъ!

— Право, дядя Яковъ, не я ее выдумалъ.

— Тебѣ ль ее выдумать, когда ты объ ней подумать-то путемъ не умѣешь! Земли-то у насъ много, да въ землѣ мало: за-неволю пришлось рулемъ море пахать. Не брось, любишь ты и крупчатикъ съѣсть, и синій кафтанъ напялить, и почесвать порой: а развѣ тонкое сукно да сахаръ у насъ на березахъ растутъ? Ась? Вотъ, и плывутъ удалыя головы за море, по красный товаръ. Въ лѣсъ не съѣздишь, такъ и на полатяхъ замерзнешь.

У глупцовъ голова ни-дать-ни-взять Азіятской караванъ-сарай: голыя стѣны безъ хозяина. Мысли приходятъ въ нее, неизвѣстно откуда; уходятъ, незнаемо куда. Слово «море» пролетѣло сквозь уши Ивана, и спустило пружину пѣсни. Въ головѣ его ничего не было кромѣ пѣсень: онъ затянулъ:

За моремъ синичка не пышно жила;
Не пышно жила, пиво варивала,
Солоду купила, хмѣлю въ займы взяла.

Въ свою очередь слово «пиво» чудными сцѣпленіемъ идей пробудило въ Алексѣѣ пивное воспоминаніе, и онъ, вытирая мечтательную пѣну съ губъ своихъ, сказалъ:

— Знаешь ли что, дядя Яковъ! въ иную пору мнѣ бы и въ умъ не шало тужить по родинѣ, а теперь у насъ въ деревнѣ праздникъ на дворѣ, такъ если бъ удалось престолу свѣчку поставить, — повидаться бы въ морѣ пускаться.

— Молодъ, братъ, ты, Олеша, да воровать! Не свѣчка, а печка у тебя на умѣ. Не молиться, а столовать тебя охота разбираетъ. Старики не даромъ сложили пословицу — кто на морѣ не бывалъ, до сыта Богу не маливался. Да ужъ коли здѣсь мало простору, такъ въ Соловкахъ молись — не хочу. Добрые люди съ краю земли пѣшкомъ туда ходятъ на богомолье, а тебѣ къ случаю, безъ труда, нынала такая благодать, — чудотворцамъ Зосимѣ и Саватію поклониться, къ мощамъ приложиться, чудесамъ ихъ подивиться! Ахнешь, братъ, какъ повидишь, изъ какихъ громадъ сложены стѣны монастырскія! Вышины, — взглянь, такъ шапка долой; толщины, — десять колесницъ рядомъ проскачутъ; и каждой камень больше избы. Вѣдь святымъ Угодникамъ ангелы помогали: человѣку ни вздумать, ни сгадать, не то чтобы руками поднять такое бремя.

— Аль Соловецкій-то островъ утесъ, дядя Яковъ?

— Въ томъ то и диво, что не утесъ. Берегъ

Соловкахъ съ радости въ огромные глиняные колокола. Ну, слава Богу! сказали: жива обитель преподобныхъ Савватія и Зосимы!

— А что, эти глиняные колокола-то обожженные, али изъ сырца? съ недовѣрчивостію спросилъ Алексѣй?

— Не сподобилъ Богъ видѣть самому: только понамарь мнѣ сказывалъ, что они до сихъ поръ въ тайникѣ висятъ, а какъ благовѣстить въ нихъ станутъ, заслушанье: что твои райскія птицы поютъ! Да ты самъ обо всемъ распросить можешь: къ восходу солнышка мы станемъ въ Соловки.

— Если станемъ! молвилъ Алексѣй.

— А съ чего бы нѣтъ? Сто двадцать веретъ, спустя рукава перемашемъ.

— Не хвались, дядя Яковъ, сказалъ Савелій: а лучше насвистимъ-ко погодку; видишь, вѣтерокъ-то стихъ, перепалъ.

Покорный общему суевѣрію моряковъ, дядя Яковъ принялся свистать, какъ свищутъ конямъ на водопой. И въ самомъ дѣлѣ вѣтеръ порхнулъ, будто дожидался приглашенія; засвѣжѣлъ, скрѣпчалъ скоро. Зыбь раскатывалась грядами, гряды сшибались въ крутые валы, и наконецъ море дало гулъ, подобный гулу, предшествующему вскипѣнію воды въ огромномъ котлѣ. Солнце садилось въ огненныхъ

тучахъ, весь западъ кипѣлъ будто кровью, — вѣрная примѣта непогоды; когда жъ горизонтальные лучи переломлялись въ прозрачной синевѣ, въ переливной зелени вала, онъ сквозилъ какъ стекло, онъ вспыхивалъ, какъ туча молніею и гасъ, и темнѣлъ, и обрушивался, подавленный другими.

Савелій, принужденный придержать къ вѣтру, чтобъ не зарыскнуть далеко въ океанъ, въ-упоръ налегалъ на румпель. Дядя Яковъ съ Иваномъ держали на рукахъ шкоты зарифленнаго (уменьшеннаго) грота. Алексѣй, блѣдный какъ саванъ, сидѣлъ уцѣпившись за бортъ, и съ ужасомъ смотрѣлъ на хлещущіе въ бокъ судна валы. Ему казались они чудовищами, которыя заглядываютъ въ карбасъ, чтобъ схватить и сожрать его.

— Глянь-ко, глянь, дядя Яковъ! сказалъ онъ: валы-то за нами въ перебой гонятся. Страсть, да и только!

— Аль тебѣ дивно, что валы старички расплясались? Да, братъ, они скоро сами сѣдѣютъ, скоро и нашего брата сѣдымъ дѣлаютъ. Ты не смотри на ихъ пляску, а то какъ разъ голова закружится.

— И впрямъ такъ! примолвилъ Савелій. Чѣмъ глазѣть на валы, возьми-ка, Алеша, лейку, да отчерпывай воду: вишь, то и знай, под-

дает. Ну, дядя Яковъ! напрасно я тебя не послушалъ: придержать бы къ берегу, а то меня и въ хорошую погоду знакомые отпѣвали, чуть я сберусь въ море на карбасѣ, а въ такую свалку, если бъ зналъ да гадалъ, я бы и самъ трезвый не пустился. Посмотри на облака: слово слово не добрые люди бродятъ вкругъ да около, и промежъ собой переговариваютъ, куда бы на разбой стрекнуть.

— Чего добраго? сказалъ дядя Яковъ. Пожалуй, и до насъ доберутся: а у насъ ворота настежъ. Долга намъ будетъ эта ночь!!

И ночь задвинула небо тяжкими тучами, и тучи всплескались какъ волны, и море забушевало какъ небо. Вихорь спиралъ, возметалъ, разбрызгивалъ пары и волны. То черныя облака разѣвали огненную пасть свою, вѣющую жаломъ молній; то бѣлогривые валы, рыча глотали утлое судно, и снова извергали его изъ хляби. Въ карбасѣ одна успѣвали отливать. Паруса уже были убраны, но шкалы хлестали его такъ сильно, что нагія мачты трещали: онъ летѣлъ, какъ бѣшеный конь, и каждую минуту пловцы наши ждали, вотъ, вотъ зароется въ воду! И вдругъ разразился надъ ними ударъ грома: огонь ливнемъ рухнулъ во всѣ трещины лопнувшаго свода небесъ, и въ тотъ же мигъ вздутый порывомъ валъ ударилъ

въ корму. Карбасъ пилъ смерть; мигъ былъ ужасный. Пловцамъ показалось, ихъ окатилъ огненный водопадъ сверху и снизу; они закрыли ослѣпленные глаза, чтобы не открывать ихъ напѣки. Савелій съ крикомъ — «Господи, прими мою душу!» — выпустилъ румпель. Алексѣй уронилъ лейку.....

— Теперь молись! сказалъ ему дядя Яковъ.

Одинъ только Иванъ не бросилъ работы: сквозь ревъ бури и валовъ, слышалась звонкая пѣсня его —

Изъ-за Волги кума въ рѣшетѣ приплыла,
Веретенами гребла, юбкой парусила.

Савелій не хотѣлъ умереть, потому что собирался пожить; Алексѣй, потому что не успѣлъ пожить; дядя Яковъ, потому что не готовъ былъ умереть. Но что значила смерть, что прошлое и будущее для Ивана? Онъ не имѣлъ, на чемъ свѣсить этихъ загадочныхъ мыслей. Онъ покинулъ бы свѣтъ точно такъ же, какъ и вошелъ въ него, безъ малѣйшаго произвола или сожалѣнія. Счастливецъ Иванъ! не отбилъ бы я у тебя твоей жизни, но твоей смерти позавидовалъ бы. Кто, отваливая въ гробу отъ жизни въ вѣчность, не оглянется назадъ со вздохомъ, не взглянетъ впередъ съ сомнѣніемъ, если не съ ужасомъ?... А онъ тонулъ, и пѣлъ!

И повѣрите ли? когда стихъ гулъ громоваго удара въ душахъ пловцевъ, они расхохотались пѣснѣ Ивана, и смѣялись долго, смѣялись наперевывъ, будто въ припадкѣ. Разгадайте теперь сердце человѣческое! Оно скорѣй всего дастъ смѣхъ въ минуты самой жестокой скорби и ужаса! Я это видѣлъ, и испыталъ.

Буря надохла съ послѣднимъ ударомъ своей ярости. Вѣтеръ унялъ вдругъ. Природа какъ человѣкъ, или, лучше сказать, человѣкъ какъ Природа въ свое лѣто, вспыльчивъ и буренъ, на мигъ. Облака будто растопились молніею въ дождь, и мѣсяцъ, выкупавшись въ тучѣ, весело блеснулъ въ темѣ неба; лишь на краю горизонта толпились бѣглецы облака. Они улетали, ропща, огрызаясь, и порой вспыхивали ихъ выстрѣлы зарницею; валы сыпали отсталыхъ; валы еще ходили и сшибались грозно между собою, какъ ратники иныхъ народовъ послѣ войны со врагами заводятъ междоусобія въ отчинѣ, чтобы утолить свою кровавую жажду хоть изъ жилъ братій, и дотратить на нихъ боевой огонь, раздутый привычкою. Но скоро волны разлились въ широкую зыбь, и по ней зазмѣились бѣлыя полосы пѣны, недавно вѣнчавшей гребни валовъ. Онѣ тянулись подобно строкамъ на мрачной, безконечной страницѣ моря, подобно слѣдамъ по-

колѣній на океанѣ жизни. Исчезла самая пѣна, и синева безднствія подернула лице моря. Оно дышало уже тяжело и прерывисто, подобно умирающему, и наконецъ къ утру душа его налетѣла туманомъ, какъ будто преображая тѣмъ, что все великое на землѣ дышитъ только бурями, [illegible] всего великаго поэзіи въ сна[illegible]ронницаемый равно для дѣятеля, [illegible]ля.

Свѣтало.

Аргонавты [illegible] сомнѣнной смерти попали въ с[illegible]нѣніе, и хотя при этой вѣрной [illegible]сь они, что выраженіе любов[illegible]имыхъ, будто сомнѣніе хуже [illegible]сѣмъ справедливо, однако жъ п[illegible]ало вовсе незавидное. Карты [illegible] не бывало. Да и на кой чортъ передъ ними раскладывать карту, когда нѣтъ умѣнья разбирать ее? Одинъ Русской шкиперъ мореплаватель, на вопросъ: Развѣ у васъ нѣтъ картъ? — съ простодушіемъ отвѣчалъ: «Были, батюшка, и золотообрѣзныя, да ребята расхлестали, въ носки играючи!» Компасъ — иное дѣло; Савелій зналъ, какъ съ нимъ посовѣтоваться: да та бѣда, что въ свадебныхъ попыхахъ забылъ его дома! Какъ быть? Вѣтеръ вчерась гонялъ ихъ то вправо, то влѣво, вертѣлся какъ бѣсъ передъ заутре-

ней, и перетасовалъ всѣ румбы и умы нашихъ иловцевъ въ такой балагуть, что самъ Бюффонъ со своею теоріею вѣтровъ проигралъ бы свое краснорѣчіе. Не могъ придумать Савелій, на носъ или на затылокъ должно надѣть сѣверъ. И солнце, по его мнѣнію, то входило въ лѣвое ухо, а закатывалось изъ праваго, то въ правое, и садилось въ лѣвомъ. Куда же поворотить? гдѣ искать Соловецкаго? Утро раскрывалось какъ цвѣтокъ: за то ужъ туманъ клубился, — хоть на хлѣбъ намазывай! Вотъ, потянулъ вѣтерочекъ слѣва; но онъ былъ не вѣренъ какъ свѣтская женщина, колебался туда и сюда какъ нынѣшняя литература, и чуть бороздилъ воду будто на цыпочкахъ бѣгая вкругъ судна, чтобъ не разбудить мореходцевъ.

Савелій держалъ совѣтъ съ дядей Яковомъ.

— Соловки близко впереди, говорилъ Алексѣй. Вихорь гналъ насъ въ тылъ, и мы бѣжали какъ заяцъ отъ беркута.

— Соловки у насъ далеко въ правой рукѣ, утверждалъ дядя Яковъ. Шквалъ зашелъ справа и занесъ карбасъ какъ сокола на западъ.

— А можетъ-статься и правда! молвилъ Савелій. Откудова жъ теперь подулъ вѣтеръ?

— Вѣстимо съ сѣвера! Днемъ жарко, днемъ

дуетъ вѣтеръ съ берега; ночью свѣжо, ночью онъ ворочается домой.

— Да теперь ужъ день, и, на ало тебѣ, прошлую ночь вѣтеръ бѣжалъ съ берега, словно изъ острога съ цѣпи сорвался.

— Буря особь статья, Савелій Никитичъ! На землѣ-то цѣлую недѣлю пекло, да жарило такъ, что и ночь не въ ночь была: вотъ тепло безъ очереди и валилось въ море, а теперь земля искупалася, попростыла; теперь непремѣнно потянетъ холодокъ на берегъ, отъ того, что холодокъ сильнѣе тепла сталъ.

Дядя Яковъ говорилъ правду. Онъ не читалъ, отъ чего происходятъ вѣтры въ атмосферѣ, не имѣлъ понятія о разрѣженіи воздуха электричествомъ бурь или по разновѣсію газовъ; но онъ имѣлъ здравый умъ и опытность. Савелій убѣдился. Рѣшили, какъ изъясняются наши домороченые мореходы, *побрасовать*, то есть, поворотить паруса, и держать на востокъ. Вьюнъ зашипѣлъ за рулемъ; карбасъ поплылъ въ полвѣтра. Однозвучное плесканье волнъ и утомленіе минувшей ночи клонили ко сну мореплавателей. Одинъ Савелій не смѣлъ предаться утреннему сладкому сну: онъ былъ хозяинъ судна, онъ былъ король этого государства, сбитаго деревянными гвоздями. Для блага своего и охраны другихъ, онъ не спалъ: за

то грѣзилъ на яву. На ткани паруса и ткани тумана проходили, плясали, мелькали яркіе образы, будто по мѣсяцу волшебнаго фонаря. Ему видѣлось, какъ русая коса Катерины Петровны раздѣляется на двѣ половины и дважды обвиваетъ чело ея, и скрывается подъ гарнитуровый платочекъ съ золотой каймою. Видѣлись ему и раздернутые ситцовые занавѣсы брачной кровати и снятая пуховая подушка подъ розовою щечкою невѣсты; видѣлись ему друзья и пріятели, — пируютъ ужъ у него на крестинахъ. Вотъ забота, какъ назвать перваго сына, кого позвать въ кумовья первой внучкѣ. Однимъ словомъ, около него рѣзвилась ужъ цѣлая толпа его нисходящихъ потомковъ, и онъ глядѣлъ на нихъ нѣжно и любовно, какъ иной сочинитель на свое литературное потомство, — малъ мала меньше, запеленанное въ телячью кожу съ золотымъ обрѣзомъ, которое, мечтаетъ онъ, грядущіе вѣки будутъ пальчить на подхватъ. Онъ грѣзилъ ужъ о внучатахъ, говорю я, забывъ, что подъ нимъ голодная пучина, забывъ, что корабль не болѣе какъ дерево, матросы не болѣе какъ люди, и что есть вещныя крысы и водяныя крысы,» по словамъ Шекспирова жида Шейлока; а крысы съѣли Польскаго короля Попеля: такъ спуститъ ли онъ разночинцу?

Сонъ и мечтанія гражданъ карбаса прерваны были страшно и внезапно. Саженяхъ въ пятидесяти отъ нихъ, на вѣтрѣ, вспыхнула молнія сквозь туманъ, и за громомъ выстрѣла, ядро свистя перелетѣло черезъ ихъ головы. Всѣ вскочили съ мѣстъ: Иванъ съ знакомъ удивленія, въ скобкахъ зѣвка; Алексѣй съ обманомъ отъ недопитой во снѣ браги; дядя Яковъ съ растрепанною бородою; капитанъ Савелій съ предчувствіемъ конечнаго разоренія. У всѣхъ уши выросли на вершокъ, у всѣхъ ужасъ вылился единогласнымъ крикомъ: «Что это?»

— Не громъ ли? сказалъ крестьянинъ Савелій.

— Не звонъ ли глиняныхъ Соловецкихъ колоколовъ? молвилъ лукаво Алексѣй.

— Я те задамъ такого благовѣсту съ переваломъ, что у тебя до Касьянова дня въ ушахъ будетъ звенѣть! крикнулъ дядя Яковъ. Никитичъ! Лѣво на бортъ! Зѣвать нечего! Это Англичане.

Цѣлая стая голденовъ пажужжала по дорожкѣ пропаханной въ туманѣ ядромъ и убѣдила нашихъ въ несомнѣнности словъ Якова. Но желанье уйти отъ ненавистнаго капера, польщалось иглою, оперило ихъ надеждою. Карбасъ кинулся по вѣтру, какъ утка, испуганная ружьемъ охотника. Но чрезъ минуту всякая нѣ-

ролтность набавленія исчезла. Туманъ нена-
рянсь, становясь прозрачнымъ, оказалъ по-
гоню за кормою. Англійскій куттеръ, паря-
вая волны и пары, катился вслѣдъ бѣгущихъ!
Огромный гикъ, отброшенный на вѣтеръ, вы-
ходя изъ тумановъ, казалось, хватался ихъ
тѣнь треугольнаго паруса будто вонзалась въ
корму: она обдала холодомъ сердца Русскихъ!
Жестяная труба загремѣла: — Boat-ahoo! Strike
your colour! «Ботъ! сдайся.»

Руки отнялись у бѣдняжекъ. Уполати не
было возможности. Оружія у нихъ — одинъ
дробовикъ, да два топора. Между тѣмъ кут-
теръ напиралъ все ближе и ближе, заслоняя
собою вѣтеръ.

— Down with your rags! «долой паши тряпки!» —
кликнула снова труба. Put the helm up, dam-
mi! руль на бортъ, чортъ возьми! «Strike, or I'll
run over and sink you! «Сдайся! или я переѣду
и потоплю тебя!» Съ этимъ словомъ куттеръ
началъ приводить къ вѣтру, чтобы дать дѣй-
ствовать артиллеріи. Савелій очень хорошо
зналъ, въ чемъ дѣло. Онъ ясно видѣлъ, что
Англичанинъ могъ пустить его ко дну ядрами
или ударомъ водорѣза; но онъ былъ оглушенъ
мыслію неволи, разоренья, и когда же? — въ
самомъ разгарѣ надеждъ, въ самомъ цвѣту
счастья! Онъ пришелъ въ ярость, вообразивъ,

что все его достояніе, все его потомство въ фунтикахъ, въ узелкахъ, въ тюкахъ, въ рогожкахъ, погребется въ брюхѣ разбойничьяго судна; что вмѣсто объятій Катерины Петровны, ожидаютъ его линьки боцмана, вмѣсто матушки-Руси, какой нибудь блокшифъ *, исправляющій должность тюрьмы! Ретивое вспыхнуло: онъ схватилъ заржавѣлый дробовикъ, и, бацъ, прямо въ бортъ куттера!

— Fire! «пали!» раздалось на немъ.

Пламя каронады брызнуло по головамъ Русскихъ, и цѣлое ядро срѣзало объ мачты. Нашіе паруса накрыли карбасъ, и, прежде чѣмъ наши выбились изъ подъ этой сѣти, шестеро вооруженныхъ матросовъ вскочили въ судно, и перевязали ихъ. Сопротивленіе было бы безумствомъ. Судьба свершилась. Савелій со всей своею командою — военнопленный; его карбасъ вмѣстѣ съ грузомъ — добыча Англійскаго капера, признаннаго въ этомъ достопочтенномъ званіи правительствомъ, и снабженнаго отъ него письменнымъ видомъ, lettre de marque, и чугунными ядрами, для законнаго грабежа враговъ Великобританіи.

Давно уже, и много, и красно писали гг.

* Старый корабль, безъ вооруженія, въ портѣ стоящій.

публицисты противу корсарства, приватирства, пиратства, каперства, или, просто напросто, морскаго разбоя, прикрытаго флагомъ; но какъ такую пѣсню запѣвали всегда тѣ, которые не могли сами грабить, а не тѣ, которые смѣли грабить, то всѣ совѣщанія ученыхъ и обиженныхъ кончались обыкновенно, какъ совѣтъ мышей, — не находили молодца, который бы привязалъ колокольчикъ на шею кошкѣ, Англіи. Забавнѣе всего, что Наполеонъ, который не признавалъ ни какихъ правъ, кромѣ тѣхъ, что мотаются какъ темлякъ на шпагѣ, — Наполеонъ, который, гдѣ только могъ, изъяснялся діалектикою двадцати-четырехъ-фунтоваго калибра, унизился до смиренной прозы, толкуя о каперахъ. Онъ очень серіозно и остроумно доказывалъ, что морское народное право — вовсе не право; что не сходно ни съ Европейскими правами, ни съ понятіями вѣка, грабить и полонить беззащитныхъ купцевъ враждебной націи на морѣ точно такъ же, какъ частную собственность мирныхъ гражданъ, на берегу; что, платя за съѣстные припасы поселянину и сохраняя жизнь, свободу и имущество даже въ городѣ, взятомъ въ бою, не безчеловѣчно ли, не унизительно ли отнимать и то, и другое, и третье, какъ скоро она на кораблѣ? Неужели соленая вода до того изгѣ-

плетъ краску понятій, что презрительное и беззаконное на сушѣ становится на морѣ похвальнымъ и законнымъ? Приговаривался онъ, что каперы и крейсеры должны ограничиваться лишь осмотромъ купеческихъ судовъ, и конфискаціею однихъ военныхъ снарядовъ. Англичане говорили, что это весьма справедливо, и не переставали забирать, ловить, грабить всѣ Французскія и союзныя Франціи суда.

Послѣ Тильзитскаго мира очередь упала и на насъ, грѣшныхъ. Мы принялись сосать свеклу, увѣряя себя, что это сахаръ и за тридорого одѣваться въ дрянное сукно, сотканное на континентальной системѣ. За то мы точили тогда свои непокупные и неподкупные штыки, и, вмѣсто кофе, пили надежду близкой мести. Она разразилась 1812 годомъ. Но такъ или сякъ, а Савелій Никитичъ плѣнникъ. Англичане, какъ всѣмъ извѣстно, народъ ласковый, привѣтливый, до того, что на бокахъ его и его товарищей напечатался не одинъ параграфъ морскаго права, покуда оно переселилось на палубу Его Великобританскаго Величества, эту плавучую почву habeas corpus, ступивъ на которую, каждый чужеземецъ пользуется неограниченною свободою носить свой носъ по будиямъ и праздникамъ невозбранно. Мы видѣли, какъ поступили они съ

Наполеонъ, который имѣлъ простоту отдать-ся добровольно ихъ гостепріимству и велико-душію: можете судить, какова приняли они Русскихъ мѣщанъ, дерзнувшихъ убѣгать отъ ихъ правоты и даже ранить дробью въ носъ дубовый кутеръ подъ флагомъ Георга III. Le cas était pendable, —это висѣльный случай, какъ говорятъ Французы, и Савелью навѣрно бы досталось проплясать джигъ подъ концомъ рея, если бъ онъ попался Англійской дисци-плинѣ послѣ обѣда; но, къ счастью, плѣ-ненie карбаса произошло въ первую бутылку дня,* и потому капитанъ капера удовольство-валъ гнѣвъ свой, отпустивъ имъ на брата по дюжинѣ образцовыхъ браней, standart jurements, — God damn your eyes! съ придачею не въ зачетъ нѣсколькихъ — You scoundrels ruffians! ye barbed dogs! мошенники, бездѣльники, боро-датыя собаки. Савелій и дядя Яковъ, кото-рымъ Англійскія привѣтствія пріѣлись какъ

---

* Въ морскихъ, заморскихъ романахъ, я чай, не разъ случалось вамъ читать, — четвертая склянка, осьмая склянка. Это мистификація; это попросту зна-читъ, что моряки хватили три бутылки, что они пьютъ уже посьмую. Часомѣріе это, самодвижное и са-мозвонное, весьма удобно и здорово: въ полдень опрокидываютъ они всѣ бутылки разомъ, и это назы-вается попѣрна хронометромъ. *Ученое замѣчаніе.*

насущные сухари, находили это въ порядкѣ вещей. Но Алексѣй нѣсколько разъ пытался высвободить свою десницу изъ веревокъ, чтобы обратиться съ отвѣтомъ *прямо въ лицу* капитанскому; Иванъ поплевывалъ вдвое чаще.

Но въ сущности Англичане не злой народъ, и если вычесть изъ нихъ подозрительность, грубость, нестерпимую гордость и гордую нетерпимость всего иноземнаго, вы найдете, что они самые любезные люди въ свѣтѣ. Сердце Англичанина кокосовый орѣхъ: надо топоромъ прорубиться до ядра, но за то внутри не свинцъ какъ у Француза, а сокъ освѣжительный. По внѣшности, онъ дѣйствуетъ сообразно со своими угнетательными, корыстными, колоніяльными законами; дома, по душевному уставу. Таковъ былъ и краснощекій, толстопузый капитанъ Турнипъ, командиръ куттера, — грубъ съ лица, радушенъ съ подбою. Раздраженный сопротивленіемъ ничтожной Русской раковинки, онъ грубо принялъ гостей своихъ; но когда дѣло кончилось удачно, когда всѣ тюки и боченки перепрыгнули черезъ бортъ въ трюмъ его, когда и сама верхняя часть карбаса нарублена была на дрова, а днище отправилось ко дну, когда онъ взглянулъ на бумаги Савелья, ограбивши прежде все дочиста, — это по судейски, люблю молодца за

Обычай, — и объявилъ, что карбасъ былъ законный призъ, улыбка разутюжила сафьянное лице его; нахмуренныя брови раздались, разступились, и онъ ласково ударилъ Савелья по плечу, бросилъ ему самое заможенное изъ привѣтствій, раздѣвающихъ на палубѣ: Heave a head, boy, and never fear! подыми голову, и ничего не бойся!*

Савелій, по народному выраженію, лихо насобачился говорить по-Англійски. Савелій былъ сердитъ, а потому безъ раздумья просунулъ отвѣтъ сквозь зубы на это ободреніе, Англійской работы: Богъ тебя прокляни, морская собака, и пусть будетъ чортъ твоимъ флагманомъ! не бойся? Да чего мнѣ теперь бояться, когда ты ограбилъ меня до души.

Never mind! Забудь это! возразилъ съ улыбкою Турнипъ.

Мысль о добычѣ отбила прочь досаду за брань.

— Скорѣе чортъ забудетъ взять твою душу, чѣмъ я забуду счастье, которое ты у меня отнялъ!

— Ахъ, ты неблагодарное двуногое! Развѣ не подарилъ я вамъ жизни и бочонка съ ква-

* Heave a head, въ морскомъ значеніи, почти то же, что у насъ, — по мѣстамъ! смирно! — то есть, будьте внимательны, слушайте.

сокъ, съ этимъ некрещеным напиткомъ, безъ котораго ни одинъ Русской не можетъ существовать? Развѣ я этого не сдѣлалъ? Wahl, boy, did I not?

— Ты мнѣ жизнь и квасъ сдѣлалъ хуже уксусу. Не подчуй меня такою обглоданною жизнію. Я не собака, чтобы прыгать на цѣпи и лизать плеть твою. Утопилъ ты мой карбасъ, утопи же и меня.

— Если утопить тебя въ морѣ, оно сдѣлаетъ изъ тебя солонину рыбамъ: тебя жаль! Если жъ утопить тебя въ водкѣ, она превратится въ настойку глупости: водки жаль! Ты, пріятель, лихой морякъ, когда пускаешься по морю въ табакеркѣ: я не могу запретить себѣ уважать такую отвагу.. Ну, скажи, за что ты сердишься? Будь ты сильнѣе меня, ты сдѣлалъ бы то же со мною, что я съ тобой! Не лучше ли будетъ прохладить твою горячку, выливши на тебя ведро холодной воды, и утопить твое горе, влливши въ тебя стакана два рому?

Хмѣль чудесная смазка для удовольствія и горя: онъ также плотно лѣпитъ къ сердцу расписанный изразецъ перваго, какъ зубристый булыжникъ втораго. Савелій долго отпѣкивался пить, отталкивалъ привѣтно подлетающій къ губамъ его стаканъ съ жидкимъ за-

бвепіемъ ; наконецъ глотнулъ морщась ; еще и еще разикъ, и вотъ, съ каждымъ глоткомъ, горе его таяло какъ сахаръ въ пуншѣ, и наконецъ онъ подумалъ : Покуда самъ живъ, счастье не умерло ! И онъ весело взглянулъ на Божій свѣтъ, будто выбирая, съ котораго края почать его. Онъ отломилъ каждому изъ своихъ товарищей по кусочку собственной бодрости, и протянулъ къ капитану руку.

— Такъ бы давно ! сказалъ тотъ. Будьте смирны, да работайте, такъ на насъ жаловаться не станете. Дастъ Богъ, Русскіе подымутся съ нами заодно противъ этого разбойника, Бонапарта, и тогда вы опять увидѣтесь со своей родиной. Она хоть и ледяная, а все до тѣхъ поръ не растаетъ ! . . .

— А Катерина Петровна ? подумалъ Савелій со вздохомъ. Женщины таютъ скорѣе снѣгу.

Капитанъ окунулъ свои руки въ карманы, и пустился ходить по палубѣ. Можетъ-быть и онъ думалъ о своей Фанни.

Капитанъ этотъ служилъ сперва на Ость-Индскихъ корабляхъ, — на Индѣйцахъ, Indiamen, какъ выражаются Англичане. Потомъ состоялъ онъ на полужалованьѣ ; потомъ ему отказали и въ этомъ за долгую неявку. Онъ, изволите видѣть, разсудилъ, что лучше ѣсть

прности и сладости, чѣмъ перевозить ихъ съ береговъ Ганга, и женился. Тутъ онъ узналъ, однако жъ, что вся сладость супружескаго чина состоитъ въ картофелѣ и въ кускѣ говядины. Это такъ его тронуло, что онъ съ горя потолстѣлъ, а для разсѣянія и барышей, пустился въ торговлю. Коварная стихія, — то есть, море, а не жена его — однако жъ, не сманила бы его самого съ берега, если бъ несчастнымъ случаемъ часть его имущества въ товарахъ не попалась въ руки Французскому каперу. Съ этой минуты онъ отъ собственнаго лица объявилъ войну Наполеону, и, движимъ любовью къ отечеству и къ своему карману, рѣшился вознаградить убытокъ тѣмъ же путемъ, какимъ онъ пришелъ къ нему. Оснастилъ онъ небольшое одномачтовое судно, нанялъ экипажъ, купилъ себѣ четыре пушечки, — вѣдь въ Англіи онѣ продаются на толкучемъ рынкѣ, и подъ часъ вы можете купить цѣлую батарею у носячаго; испросилъ у правительства билетъ на представленіе войны въ миньятюрѣ, и пустился пѣнить море. Ему удалось въ Каналѣ захватить какой-то ботъ съ контрабандою, да нѣсколько несчастныхъ рыбачьихъ лодокъ. Это его произвело въ собственномъ мнѣніи въ герои краснаго флага, и онъ, заслышавъ, что снаряжается не-

большая эскадра въ Ледовитое Море для поисковъ надъ Шведами и Русскими, рѣшился итти вслѣдъ за нею, какъ чакалка за тигромъ. Онъ разсчелъ, что Шведскіе китоловы и Русскіе мѣщане, ему не силажъ болье, чѣмъ Французскіе корсары, и что, въ расплохъ напавши, скорбь можно пожинться добычей. Онъ снялся съ якоря, и обогнувъ Норвегію пять ет короленскою флотиліею.

Разрывъ Россіи съ Англіею и уходу Наполеону хоти и не былъ покрешимъ съ обѣихъ сторонъ, однако жъ на моря, которыя считаютъ Англичане своими столбовыми и проселочными дорогами, bigways and by-ways были закинуты для нась живою цѣпью кораблей. Крейсеры ихъ шныхарили въ Балтійскомъ морѣ, и въ 1811 году показались въ Бѣломъ морѣ, съ набожнымъ намѣреніемъ разграбить Соловецкій монастырь. Свѣдавъ однако, что тамъ усилены гарнизономъ и артиллеріи, они не посмѣли на приступъ, и возвратились. Одинъ только бригъ проникъ до самой Колы и однакожъ сибшилъ улизнуть оттуда съ небольшою добычею на добра ума, когда былъ настигнутъ бурею, разлученъ со своимъ флангманомъ, и потянулся на карбасѣ Сапелья. Теперь онъ правилъ бѣгъ свой по-своей, и уже три дни протекло со дня плаво-

ція карбаса. Въ эти три дня капитанъ Турнинъ обжился съ новобранцами своими. Капитанъ Турнинъ былъ не плохой морякъ по знанію моря, но очень плохой по своей лѣности. Женатая жизнь избаловала его: неохотно разставался онъ съ настольемъ и постелею. Крутой пуддингъ и мягкая подушка были для него, разумѣется съ примѣсью мадеры и грога, первымъ блаженствомъ міра: онъ не могъ вообразить идолопоклонника иначе, какъ въ видѣ сукновала, бутылки или пуховика. Въ слѣдствіе сего, онъ гораздо болѣе любилъ проводить время въ уютной каютѣ своей, чѣмъ на палубѣ. Что же дѣлать, милостивые государи! онъ привыкъ къ домовитой, къ порядочной жизни: онъ былъ человѣкъ женатый.

Впрочемъ, нашъ холостой XIX вѣкъ также прихотливъ, будто женатый вельможа, comfort— надпись его щита. Правда, онъ выдумалъ для непріятелей паровыя пушки, для пріятелей дрожки безъ одолженія; за то выдумалъ и сидѣнье сзади коляски для слугъ, тротуары для пѣшеходовъ, отопленники съ ресорами для собакъ, резиновые корсеты для красавицъ, непромокаемые плащи для воиновъ; сунь нашъ костей для бѣдныхъ, для богатыхъ непѣнный сунь, который выдержитъ потопъ, не потерявши вкусу, выдумалъ жаровню, которая жа-

рить бефстекс въ карманѣ, и патерклоеты для спаленъ. Выдумалъ онъ . . . Да чего онъ не выдумалъ! Все, — отъ машины растирать камни въ пузырѣ, до Французской бритвы, гильотины, которая вамъ снимаетъ голову такъ легко и скоро, что вы не успѣете чихнуть, и до многихъ другихъ этого рода усовершенiй. Скажите, можно ли быть заботливѣе, предупредительнѣе нашего вѣка? Не хотите ли вы мнѣ говорить про солнце старинное, про нестарѣющую природу, про паслажденiе бивуаковъ, про здоровье гнилыхъ сухарей и пріятности грязнаго бѣлья? . . . Вздоръ, сударь! я люблю искуства и промышленность. Я хочу жить и умереть при свѣтѣ газовыхъ лампъ, на тюфякѣ набитомъ благовоннымъ воздухомъ, въ перчаткахъ съ пружинами, съ резинною спиною, съ сердцемъ непромокающимъ даже отъ слезъ. Я Русской своего вѣка, милостивый государь! Я люблю газеты и омнибусы . . . Я люблю comfort. Вашъ покорнѣйшiй.

Капитанъ Турнипъ, какъ Англичанинъ, который скорѣе бы согласился обнищить половину своихъ согражданъ и зачумить другую, скорѣе, чѣмъ оставить пустыми свои благоустроенныя тюрьмы и больницы, любилъ комфортъ не менѣе моего, и, по обыкновенiю своему, въ третiй вечеръ отправился на боко-

вую, оставя руленаго за себя бодрствовать, а Русскихъ плѣнниковъ спать на голыхъ доскахъ, подъ парусомъ вмѣсто одѣяла. Ночь была прелестна безъ метафоры. Въ самомъ дѣлѣ, ночи Сѣвера очаровательны: это день при лунномъ свѣтѣ, это переливъ зари вечерней въ зарю утреннюю. Опаловыя небеса чуть блещутъ звѣздочками, и когда они роняютъ лучи свои въ синія волны, рѣзвушки волны ловятъ ихъ, отнимаютъ другъ у друга, дѣлятъ, дробятъ ихъ искры, хотятъ затанть въ своемъ зыбкомъ хрусталѣ, и потомъ прыщутся ими игриво. Взоръ нашъ далеко пронзаетъ чистое небо, какъ-будто усиливаясь прочесть высокую, божественную мысль, по немъ разлитую; глубоко погружается въ бездну моря, разгадывая дивную тайну, въ немъ погребенную. Вы скажете, что эти улетающія отъ взора небеса со своими алмазными цвѣтами, со своей радугою вкругъ мѣсяца, съ причудливыми образами облаковъ есть — воображеніе; а море съ ропотною пучиною своею, съ обломками кораблекрушеній, съ каменистыми растеніями, съ трупами, съ чудовищами на днѣ, съ фосфорическимъ блескомъ сверху — память человѣческая?

Савелій не разгадывалъ ни мысли, ни тайнъ творенія, но онѣ совершались въ немъ безъ его вѣдома. Тоска по отчизнѣ грызла его серд-

це, — тоска, которую превзойдетъ развѣ часъ разлуки съ жизнію. Выньте рыбу изъ воды, посадите птичку подъ воздушный насосъ, и скажите имъ: живи! Оторвите человѣка отъ отечества, и потомъ дивитесь, что онъ чахнетъ, скучаетъ. Не спалось Савелью на новосельѣ. Онъ тихо поднялъ голову . . .

Вѣтеръ былъ свѣжъ, но ровенъ. Закрѣпленные паруса были вздуты; куттеръ, склонясь на бокъ, шибко рѣзалъ волны, и онѣ разсыпались о грудь его серебряными колосьями. Всплески звучали мѣрнымъ ладомъ, и струя скользя вдоль боковъ, сливалась за рулемъ въ завитки, и шипѣла, пѣнила соп на все живое. Покорный этому призванію, рулевой дремалъ надъ румпелемъ, и только повременно, по привычкѣ ворчалъ — Steady! steady! проворнѣе. Трое вахтенныхъ матросовъ храпѣли уже, прикорнувъ къ сѣткамъ; остальные всѣ спали въ койкахъ, въ своей каютѣ, внизу.

И вдругъ огненая мысль выстрѣлила въ головѣ Савелья, и простроилась по всему его составу. Ему показалось, кто-то крикнулъ наухо — Овладѣй куттеромъ! онъ толкнулъ дядю Якова; тотъ проснулся.

— Видишь ты? сказалъ онъ шопотомъ, показывая на сіяющихъ Англичанъ.

— Вижу, отвѣчалъ Яковъ оглядѣвшись.

— Хочешь ли ты свободы? спросилъ Савелій.

— Хочешь ли ты смерти? спросилъ въ свою очередь Яковъ.

— Смерть та же воля. Лучше умереть въ тубѣ, чѣмъ голому жить. Лучше отдать свои кости Божьему морю, нежели таскать ихъ по чужой землѣ. Со мной, что ли, дядя Яковъ? Не то я одинъ надѣлаю проказъ, а въ кандалы не дамся.

— Слушай, удалая голова: я не меньше тебя люблю матушку Русь, я тебя не выдамъ. Только подумай — гдѣ мы, и сколько насъ?

Савелій указалъ ему на два люка, отверстія ведущія подъ палубу, потомъ на ряды абордажныхъ орудій висящихъ по сѣткамъ, и что-то пошепталъ ему на ухо тихо, тихо.

— Съ Богомъ! произнесъ дядя Яковъ.

Съ двумя остальными Русаками нечего было совѣтоваться: ихъ стоило только велѣть, и они готовы въ пылъ и въ омутъ. Савелій подобрался къ борту, отцѣпилъ топоръ, и прямо пошелъ къ рулевому. Тотъ въ полглаза взглянулъ на него, подернулъ штур-троса* и пробормоталъ свое — steady! steady! Оно бы-

* Веревка управляющая рулемъ.

ло послѣдняя. Савелій разнесъ ему черепъ до плечъ; несчастный упалъ черезъ румпель безжизненъ; и кровь рѣкой полилась по палубѣ. Трое Русскихъ схватили одного сильнаго Англичанина и перебросили его черезъ бортъ въ море. Но двое остальныхъ Англичанъ проснулись отъ шуму, схватились бороться, и только раненые уступили силѣ. Голодная пучина съ шумомъ приняла ихъ въ свое лоно, но не вдругъ поглотила ихъ. Жалобный, пронзительный крикъ то возникалъ, то смолкалъ надъ волнами, и наконецъ все слилось въ молчаніе могилы, въ тихій говоръ моря. Между-тѣмъ, смертный кликъ борьбы испугалъ осьмерыхъ матросовъ, спящихъ внизу; но Русскіе успѣли уже надвинуть на отверзтія рѣшетчатыя крышки, и закрѣпить ихъ сверху болтами. Едва Англичане осмѣлились попытаться поднять кровлю своей западни, три зараженныхъ мушкетона отпугнули ихъ прочь. Люкъ въ каюту капитана былъ также заколоченъ прежде, чѣмъ онъ отрясъ съ рѣсницъ своихъ сонъ, утренній мадерою.

— *Бой!* закричалъ онъ грозно, услышавъ необычайную суматоху на палубѣ. *Бой!* повторилъ онъ съ приложеніемъ сотни бранейъ но *Бой* не явился, хотя заклинанія капитанскія могли бы вызвать всѣхъ чертей изъ ада.

Бѣдняга, мальчикъ лѣтъ двѣнадцати, вѣстовой капитана, былъ лишенъ на этотъ рангъ неизбѣжнаго пинка, служившаго знакомъ восклицанія значительному надежу — *Бой!* онъ давалъ ему невѣроятную быстроту движеній. — *Бой*, принеси бутылку! *Бой*, кликни боцмана! — и пинокъ въ задъ, — и онъ взлеталъ по лѣстницѣ соколомъ. Да! пинокъ есть первая буква Англійской дисциплины, которой послѣдняя, петля на концѣ рея.

Видя, что *Бой* пойдетъ за полученіемъ своей порціи капитанъ въ гнѣвѣ вскочилъ съ постели и кинулся къ дверямъ: онѣ были заперты.

— Что это значитъ? вскричалъ онъ, потрясая задвижками.

— Это значитъ, что ты мой плѣнникъ, отвѣчалъ Савеліи, сквозь люкъ. Половина твоихъ людей въ морѣ; другая забита въ палубѣ. Сдайся!

— Что бы я, лейтенантъ королевской службы, сдался бородачу? Никогда! ни за что! я пробуравлю дно и потоплю тебя! кричалъ Турнипъ.

— Я зажгу судно и взорву тебя на воздухъ, возразилъ Савеліи.

Но судно не было потоплено, ни сожжено. Оно было только обращено назадъ, и тѣмъ

же полувѣтромъ бѣжало къ Руси. Савелій правилъ рулемъ, и надзиралъ надъ капитанскимъ люкомъ. Двое другихъ стояли на часахъ при люкѣ матрозской каюты, одному позволялось спать. Всѣ они были обвѣшены оружіемъ. Тяжко бы имъ было управляться съ парусами, если бы вѣтеръ перемѣнился или скрѣпчалъ; но онъ дулъ ровно и постоянно, и Алексѣй, весело поглядывая впередъ, охорашивался и говорилъ: знай нашихъ! Тишина прерывалась только порой бранью запертыхъ въ клѣткѣ Англичанъ, да заклинаніями капитана. Наконецъ и онъ умолкъ. Какъ истинный философъ, онъ, приняв тройной зарядъ рому, заснулъ, поверженный, но не побѣжденный.

На другой день Русскіе сдѣлали печальное открытіе, что у нихъ нѣтъ ни крошки сухаря: все съѣстное хранилось внизу. Побѣдители могли умереть съ голоду прежде, чѣмъ добѣжать до берега. Англичане не сдавались и не давали ничего. Къ счастію случай уравновѣсилъ бѣдствіе обѣихъ воюющихъ націй. Англичане не за долго выкатили на палубу остальныя бочки съ водою, для помѣщенія подъ кровлю пѣжной добычи. Начались переговоры:

— Дайте намъ хлѣба! говорили Русскіе.

— Дайте намъ воды! говорили Англичане.

— Не дадимъ, отвѣчали Англичане, покуда вы насъ не выпустите.

— Не дадимъ, отвѣчали Русскіе: сдайтесь!

И парламентеры расходились отъ люка.

Но голодъ и жажда уладили перемиріе. Народное честолюбіе замолкло передъ воплемъ желудка: мѣна учередилась. За каждый кусокъ сухаря и солонины, данный въ обрѣзъ, отмѣривались кружки воды на полжажды.

— Я бы желалъ, чтобъ ты подавился этимъ кускомъ! говорилъ капитанъ, просовывая оленій языкъ сквозь отверзтіе люка.

— Я бы желалъ, чтобъ ты вѣкъ пилъ одну воду, говорилъ Савелій, подавая ему мѣрку не винной влаги. Авось бы ты съ этого поста поумнѣлъ!

— Ты разбойникъ! ворчалъ капитанъ.

— Я твой ученикъ, возражалъ Савелій, Утѣшься! я сдѣлалъ съ тобой то же самое, что сдѣлалъ бы ты со мной, если бъ былъ сильнѣе. Развѣ это не твои слова?

Капитанъ говорилъ, что ничего въ свѣтѣ нѣтъ глупѣе такихъ утѣшеній.

Буттеръ плылъ, да плылъ къ Руси.

Куттеръ этотъ былъ забавное и небывалое явленіе въ политикѣ. Это не было уже status in statu, но status super statum, государство верхомъ на государствѣ, — побѣдители безъ побѣжденныхъ, и побѣжденные непризнающіе побѣдителей; это было два яруса Вавилонскаго Столпа, спущенные на воду. Внизу ревѣли — Да здравствуетъ Георгъ III навѣчно! Вверху кричали — Ура батюшкѣ-Царю, Александру Павловичу! Англійскіе годдемы и Русскія непечатныя побранки встрѣчались на лету. Это однако жъ не мѣшало куттеру бѣжать по десяти узловъ въ часъ, и вотъ завидѣли наши низменный берегъ родины, и вотъ съ полнымъ приливомъ, съ полнымъ вѣтромъ, вбѣжалъ онъ въ устье Двины, не отвѣчая на спросы брандвахты, несмотря на бой бара. Савелій не хотѣлъ медлить ни минуты, и зная, что ему простятъ всѣ упущенія формъ, катилъ безъ всякаго флага вверхъ по рѣкѣ. Таможенные и брандвахтенскіе катера, задержанные баромъ, выбились изъ силъ, преслѣдуя его. Таможня и брандвахта сошли съ ума: ну что, если этотъ сумасбродъ — Англичанинъ! ну что, если онъ вздумаетъ бомбардировать Соломбалу, сжечь корабли, спалить городъ? Конные объѣздчики поскакали стремглавъ въ Архангельскъ, и тревога распростра-

— Дайте намъ воды! говорили Англичане.

— Не дадимъ, отвѣчали Англичане, покуда вы насъ не выпустите.

— Не дадимъ, отвѣчали Русскіе: сдайтесь!

И парламе[illegible]шись отъ люка.

Но голодъ[illegible]дили перемиріе. Народное че[illegible]кло передъ воплемъ желудка[illegible]лась. За каждый кусокъ сухар[illegible]анный въ обрѣзъ, отмѣривались[illegible]а полжажды.

— Я бы [illegible]ты подавился этимъ кускомъ[illegible]питанъ, просовывая оленій я[illegible]ерзтіе люка.

— Я бы ж[illegible]вѣкъ пилъ одну воду, говорилъ Савелій, подавая ему мѣрку не винной влаги. Авось бы ты съ этого поста поумнѣлъ!

— Ты разбойникъ! ворчалъ капитанъ.

— Я твой ученикъ, возражалъ Савелій, Утѣшься! я сдѣлалъ съ тобой то же самое, что сдѣлалъ бы ты со мной, если бъ былъ сильнѣе. Развѣ это не твои слова?

Капитанъ говорилъ, что ничего въ свѣтѣ нѣтъ глупѣе такихъ утѣшеній.

Буттеръ плылъ, да плылъ къ Руси.

бѣгалъ по палубѣ, обнималъ своихъ сослуживцевъ, стучался въ двери Турнина.

— Сдайся! кричалъ онъ. Мы ужъ въ Архангельскѣ!

— Не сдамся бородачу! отвѣчалъ тотъ.

Когда причалили и бросили сходень, губернаторъ первый встрѣтилъ Савелья, прижалъ къ груди, назвалъ молодцемъ. Сердце закатилось у Савелья съ радости, слезы брызнули изъ глазъ его.

— Ваше превосходительство! отвѣчалъ онъ . . . Ваше превосходительство! . . . я Русской!

Капитанъ Турнинъ преважно сошелъ на берегъ, вручилъ губернатору свой кортикъ, и отправился подъ прикрытіемъ въ городъ напѣвая:

Rule Britania the waves!
Владѣй Британія морями!

Всѣ смѣялись.

Нужно ли досказывать? Савелій не поѣхалъ въ Соловки: онъ пошелъ въ церковь со свою милою Катериною Петровной. Государь Императоръ, узнавъ о подвигѣ Никитина, напоминавшемъ подвигъ Долгорукаго при Петрѣ, прислалъ Архангельскому герою знакъ военнаго ордена, и приказалъ продать въ

пилась по всему берегу прежде, чѣмъ призовый куттеръ показался.

Вооруженная шлюбка однако жъ встрѣтила его на дорогѣ, опросила, поздравила, и сумятоха опасенія превратилась въ сумятоху радости. Прежде чѣмъ снѣжный комъ докатился до Архангельска; онъ выросъ съ гору. Всѣ кумушки, накинувъ на плеча епанечки, бѣгали отъ воротъ къ воротамъ, — время ли на дворъ заглядывать! — и разсказывали, что ихъ роденька (тутъ всѣ стали ему роднею), Савелій Никитичъ, напалъ на стопушечный Англійскій корабль, разсыпался во всѣ стороны, окружилъ его своимъ карбасомъ, вырвалъ руль собственными руками, и давай тузить Англичанъ направо и налѣво: принуждены были сдаться, супостаты! Теперь онъ ведетъ его сюда на показъ! Всѣ ахали, всѣ спрашивали, всѣ разсказывали чепуху; никто не зналъ правды.

Громкое ура съ набережной встрѣтило приближающійся куттеръ; шапки летѣли въ воздухъ, чоботы въ воду; въ порывѣ народной гордости, народъ толкалъ другъ друга локтями и колѣнями. Всякой продирался впередъ, всѣ хотѣли первые поглядѣть на удалаго земляка. Савелій чуть не рихнулся: онъ

пользу его съ товарищами грузъ призоваго капера.

Это не выдумка. Савелій Никитичъ живъ до сихъ поръ, уважаемъ до сихъ поръ; и если вы встрѣтите въ Архангельскѣ бодраго человѣка лѣтъ пятидесяти, въ Русскомъ кафтанѣ, съ Георгіевскимъ крестомъ на груди. — поклонитесь ему: это Савелій Никитичъ.

1834.
Дагестанъ.

Нѣсколько отрывковъ изъ романа

ВАДИМОВЪ.

ОСАДА.

Заря чуть занималась противъ твердыни Ахалцыха, обложеннаго Русскими войсками. Только въ вышинѣ, надъ моремъ мрака и дыма, можно было различить зубчатыя стѣны замка и голопы минаретовъ, краснѣющіе то пепельнымъ отблескомъ востока, то кроваными огнемъ повременныхъ выстрѣловъ. Замокъ этотъ походилъ тогда на исполинскій корабль съ обломанными мачтами, рѣющій по волнамъ и бьющійся утопая. Это было въ роковое утро Ахалцыхскаго приступа, 15го августа 1828 года. Батареи наши, устроенныя противъ сѣвернаго вала города, неумолчно громили оный цѣлыя сутки, во-первыхъ чтобы разрушить ба-

стіонъ, который прикрывалъ куртину, обреченную на приступъ, во-вторыхъ чтобъ мѣшать врагамъ и ночью исправлять разрушенное. Но къ разсвѣту велѣно было пальбу разрѣдить, вѣроятно для того, чтобы до рѣшительной минуты утаить истинные замыслы. Батарея праваго крыла замолкла вовсе.

На этой-то батареѣ, окопанной земляным брустверомъ съ короною изъ туровъ, артиллеристы, прикорнувъ къ орудіямъ, дремали съ банниками и зарядными сумами подъ рукой. Пальники, воткнутые въ землю, роняли искры на вѣтеръ. Подлѣ одной изъ амбразуръ спалъ, сидя на землѣ, командиръ батареи подполковникъ Виноградовъ, завернувшись въ шинель и опустивъ голову въ колѣна. Турецкія ядра, гудя въ ночномъ воздухѣ, прыгали черезъ его голову; гранаты, брошенныя на удачу, лопались на лету или ударяли въ ограду, осыпая его землей и осколками — но онъ спалъ.

Въ это время, съ холма, отдѣлявшаго станъ отъ окоповъ, прискакалъ къ батареѣ офицеръ высокаго роста, спрянулъ съ коня, бросилъ поводъ въ руки барабанщика и наконецъ доискался подполковника. Добудиться его, впрочемъ, было не такъ легко, какъ найти. Нѣсколько разъ кликалъ онъ и дергалъ за плечо сонливца, все напрасно. «Проснитесь, под-

полковникъ!... Иванъ Ильичъ! взгляни пожалуста! не слышитъ! Виноградовъ!» наконецъ закричалъ онъ тому на ухо такъ звонко, что многіе канонеры бросились по мѣстамъ.

Виноградовъ проснулся.

— Пора что-ли? сказалъ онъ вскакивая... Къ орудіямъ! смирно! Батарея, залпъ будетъ?

У Виноградова былъ чертовскій голосъ. Бывало, подъ Эривань, гдѣ онъ командовалъ брешь-батареей, чуть раздавался любимый привѣтъ его: «Батарея! залпъ будетъ!» непріятельская стѣна пустѣла и крѣпостныя орудія замолкали вдругъ. Все бѣжало долой или падало ницъ, пушкари и стрѣлки, такъ хорошо знали они голосъ Русскаго топчи; такъ боялись мѣткости его выстрѣловъ. И тутъ съ просонковъ онъ гаркнулъ прямо по-богатырски: казалось, что кликъ его покрылъ ревъ пальбы, и что дрогнувшій надъ нимъ сводъ пороховыхъ облаковъ сыплется, ронаетъ камни. Какъ нарочно будто лопнула въ воздухѣ граната, на заключеніе оглушающаго crescendo Виноградова, и чугунныя шперни ея, форча мимо ушей, попались въ землю.

— Тише, ради Бога, тише! — произнесъ пріѣхавшій офицеръ. Ты до поры до времени переполошишь Турокъ. Я не привезъ тебѣ очереди стрѣлять; я пріѣхалъ самъ отъ се-

бя, хорошенько разглядѣть позицію, гдѣ-бы всего выгоднѣе и всего короче провести свой батальонъ, когда пойдемъ на приступъ.

— Только-то? сказалъ подполковникъ потягиваясь. Зачѣмъ-же ты не попросишь свой орденъ Переднего солнца посвѣтить тебѣ въ потемкахъ!.... Съ моими фитилями немного толку. Дай мнѣ заснуть еще хоть минутку, Вадимонъ. Я не спалъ трое сутокъ — сонъ такъ и моритъ, такъ и клонитъ меня. «Вольно!» скомандовалъ подполковникъ и завернулъ голову въ шинель.

— Нѣтъ, нѣтъ, Иванъ Ильичъ! стара, братъ, шутка. Мнѣ нужны твое знаніе мѣстности, твои совѣты, твоя дружба. Можетъ статься, немного минутъ осталось намъ быть вмѣстѣ на этомъ свѣтѣ — не уже ли-же мы броснмъ эти минуты сну?

Подполковникъ, еще дремля, подалъ наъ подъ шинели руку свою Вадимову и тотъ сжалъ ее съ чувствомъ.

— Ну, да и меня въ сторону; время-ли теперь спать! — сказалъ онъ. Черезъ часъ рѣшится участь Ахалцыха и нашего войска. Заря осѣтитъ славу или безславіе Русскихъ.... Жизнь многихъ тысячь идетъ на одну ставку; судьба ужъ тасуетъ карты, а ты спишь!

— Пятерка ва-банкъ! вскричалъ векакивая

подполковникъ и простеръ къ городу жилистую руку свою.

Пріѣзжій разсмѣялся.

Да, Русская рука владыка! она сорветъ хоть какой банкъ подъ конецъ игры; но развѣ въ первый разъ Русскіе подъ стѣнами Ахалцыха? А Турки всетаки говорятъ: Сорви прежде мѣсяцъ съ неба, а потомъ съ мечети Ахалцыха! Дивлюсь я тебѣ, Иванъ Ильичъ: надо много имѣть Нѣмецкаго равнодушія, или чисто Русской, беззаботной храбрости, чтобы спать и шутить за мигъ до кровавой, невѣрной битвы.

Подполковникъ съ важностію взялъ за руку пріѣзжаго.

— Послушай, другъ! сказалъ онъ. Шутить я стану и въ сраженіи, у меня такая природа, именно природа, и не болѣе. Это не отвага, не привычка, не хвастовство, въ этомъ не моя вина и не моя заслуга. Это просто широкая кровоносная жила, которая позволяетъ мнѣ такъ-же легко дышать въ пороховомъ дыму, какъ на чистомъ воздухѣ. Но сплю я передъ дѣломъ, не изъ безчувствія, а потому что у меня все въ исправности, потому что я увѣренъ въ успѣхѣ, наконецъ потому что я измученъ усталостью и безсонницею. Посмотри на моихъ канонеровъ: не уже ли ты думаешь

что они всѣ Волжинскіе *? Напрасно! я увѣренъ, что между ними есть пѣтые трусы; а разбери-ка ты ихъ теперь съ храбрецами! Они всѣ храпятъ. равнехонько, потому что равно истомлены, заряжая и надвигая три дня безпрестанно орудія. Теперь за то не пробудитъ ихъ взрывъ никакой бомбы подъ носомъ, ничто, кромѣ моего голоса.

— И всегда было такъ съ тобою? — спросилъ пріѣзжій?

Подполковникъ задумался....

— Однажды, да это было только однажды, отвѣчалъ онъ послѣ минутнаго молчанія, что я не смыкалъ очей, усталый но сто разъ больше теперешняго, что я молился всю ночь передъ сраженіемъ, что я плакалъ какъ дитя.

— Ты, ты плакалъ?

— Я, да, я плакалъ; но это было въ ночь передъ Бородинскимъ сраженіемъ!! О, то была роковая, грозная, священная ночь для всѣхъ Русскихъ, а я былъ Русскій безъ примѣси, какъ теперь; но я не былъ старъ, какъ теперь. Я зналъ какимъ-то чутьемъ, что за той ночью рѣшится судьба отечества, и трепеталъ за него, какъ трепещетъ теперь нашъ графъ за

* Имя полковника Волжинскаго, недавно убитаго въ сраженіи съ Чеченцами, за баснословную храбрость пошло за Капитаномъ въ пословицу.

жизнь солдатъ своихъ, за Русскую славу. Тогдажъ не объ одной славѣ, но объ одной жизни Русскихъ, но о свободѣ Руси шло дѣло: о томъ, быть-ли ей или не быть, носить-ли намъ имя народное не краснѣя, или видѣть его сорваннымъ, растоптаннымъ въ грязи!... Тяжко было, ужасно было! И потъ святой ужасъ проникъ тогда всѣ сердца, всѣ умы, отъ полководца до послѣдняго рядоваго. Никто не боялся тогда умереть, боялись, что трупы наши не загородятъ Наполеону дороги къ порабощенію милой родины. Я бѣсился, читая въ нѣкоторыхъ романахъ и журналахъ описанія Бородинской ночи и слушать ихъ, такъ у насъ въ лагерѣ былъ тогда чуть не пиръ горой! и пѣсни да шутки, и смѣхи да потѣхи!! Писали это или не Русскіе, или не очевидцы, или какіе нибудь дутики, лишенные всякой наблюдательности, люди, которые даже изъ крови умѣютъ пускать мыльные пузыри, надутые пошлыми газетными восклицаніями. Неправда-жъ, горькая неправда, будто мы тогда радовались. Съ нами былъ Кутузовъ, напротивъ насъ былъ Наполеонъ; а кто изъ насъ не зналъ его косматаго генія, кто не видѣлъ его несмѣтныхъ полчищъ, его непостижимыхъ средствъ? Эта безмолвная, тяжелая дума, утопила весь станъ нашъ въ смертную тишину. Ни кто не спалъ.

Солдаты заботливо чистили ружья, точили штыки, и, готовясь къ смерти, надѣвали чистыя рубашки. Шепотомъ завѣщали они землякамъ отнести поклонъ, кто къ женѣ, кто къ брату, кто благословеніе дѣтямъ, если вынесетъ Богъ изъ сраженія и службы. Многіе мѣнялись крестами и образами. Крестовый братъ! не выдай! говорили они другъ другу, прощаясь. Братья товарищи! не поминайте лихомъ. Они знали, что завтра будутъ драться на порогѣ Москвы, а Москву каждый считалъ воротами въ домъ свой; но это не былъ страхъ, то не было отчаяніе, то была гордая рѣшимость умереть за свою отчизну, и умереть не напрасно. Странствующій образъ Смоленской Божіей Матери стоялъ въ лагерѣ. — Тысячи солдатъ толпились около него, прикладывались, молились въ землю. Всегда коротка солдатская молитва, но въ ту ночь она была особенно искренна, потому что солдаты молились за спасеніе Россіи, потому что Русское войско былъ тогда Русскій народъ. И они набожно бросали послѣднія копѣйки свои въ кружку, благоговѣйно подклоняли головы подъ кропило, умываючись святой водой, готовясь умыться священною кровью, какая-жь кровь не священна, пролитая за отчизну!!... О, это было умилительно, это было торжест-

нно! Съ тѣхъ поръ, какъ брата полюбилъ
Русскаго солдата: это самое безропотное
щество въ самой тяжкой долѣ; это самое без-
ботное въ опасностяхъ созданье; и, что все-
чудѣе, самое нехвастливое существо послѣ
десь храбрости, существо, которое за Царя
оливаетъ радушно остальную каплю крови,
даетъ Богу остальную ленту!... Я былъ
гда вольнодумецъ, по крайней мѣрѣ на сло-
хъ, по крайней мѣрѣ по модѣ, но прибли-
сь къ образу изъ любопытства, я былъ ув-
ченъ примѣромъ.... Я палъ ницъ, плакалъ
рько, молился съ вѣрою, но едва не съ от-
яніемъ... Судьба родныхъ монхъ, судьба
ей родины, какъ чугунное ядро тяготѣла въ
рдцѣ, я чувствовалъ, что одно чудо могло
асти ихъ, а чтобы вѣрить свершенью чу-
съ, необходима пылкая вѣра! Я поднялъ
лову, и мнѣ показалось при мерцаньи лампа-
ы, будто ликъ образа съ любовію склоняетъ
мнѣ свои взоры, будто небесныя очи его
еркаютъ слезами, будто уста шепчутъ слова
адежды, мнѣ стало легче, съ души будто го-
а скатилась. Нѣтъ! сказалъ я самому себѣ:
усь не будетъ рабыней Франціи. И я молил-
еще, но уже съ отрадою. И слезы, и ды-
анье, и мысли, весь я превратился тогда въ
олитву!

— Ты былъ поэтъ! съ жаромъ произнесъ артіезкій, прижимая руку подполковника къ груди.

— Я былъ артиллерійскій подпоручикъ, хладнокровно отвѣчалъ тотъ. Я и не забылъ тогда этого; я осмотрѣлъ всѣ заряды, всѣ скорострѣльныя трубки, каждую ось, всякой винтъ на лафетѣ, всякой ремень на упряжи, даже остры ли врѣзные ножи у бомбардировъ. Такъ внимательно исполнялъ въ ту ночь свою должность каждый.... и вотъ засѣрѣло утро!

Но не здѣшнее, не сегодняшнее утро, безъ зари и тумана, а наше Русское, осеннее утро, со своею свѣжестью и запахомъ нашихъ листьевъ; съ туманами, которые то обдаютъ тебя холодомъ, то словно одѣваютъ горностаевой шубою. Краснѣе крови встало солнце, и озарило вышины Бородинскаго поля. То была чудная картина.... Она врѣзалась въ мое воображеніе такъ ярко, такъ живо, какъ будто я теперь стою опершись о колесо пушки, которая ужь давнымъ давно отслужила свой срокъ, удостоена въ ломку и перелита Богъ знаетъ во что. Лѣниво снимались туманы, но съ каждой улетающей волною дальше и дальше распахивалось поле, и наконецъ, когда они отхлынули совсѣмъ, все раздолье наступающей битвы проглянуло какъ въ райкѣ. Тамъ

и елях дымились испепеленныя уже деревнишки; батареи правда были скрыты, но холмы щетинились штыками, и колонны волновались словно забытыя серпомъ полосы жатвы. Земля вспахана ужь была колесами орудій и подковами коней, готовая, родимая, принять посѣвъ картечь и ядеръ, и потомъ упиться кровавымъ дождемъ, чтобы на весну взошла ужасная озимь, заразою. Полки входили въ линію безмолвно, но на лицѣ каждаго написано было: Умру, а не побѣгу. Адъютанты и ординарцы носились стремглавъ, крестили взадъ и впередъ. Ропотъ Русской земли съ каждымъ мигомъ становился слышнѣе и грознѣе: казалось, она съ негодованіемъ гнула хребетъ свой подъ тяжестію вражеской артиллеріи и конницы... Она колебалась и гудѣла какъ море передъ грозою; того и ждалъ я, что она всплещется валами и поглотитъ новую армаду.

— А развѣ не разступилась, развѣ не поглотила Русская земля этой армады? — сказалъ задумчиво пріѣзжій. У стѣнъ Кремля застыла все пожигающая лава Наполеона, и теперь на пеплѣ ея зеленѣютъ виноградники свободы народовъ. Въ 1825 году рыскалъ я по Бородинскому полю, вслѣдъ за принцемъ Оранскимъ, и вотъ онъ, 13ть лѣтъ спустя, пришелъ съ береговъ Шельды поклониться тому мѣсту,

на которомъ Русскіе заложили первый камень освобожденія Европы, и этотъ камень была гробовая плита 20 тысячъ нашихъ собратій! И мы, теперь стояли на холмѣ, покрытомъ этою плитою, и думали, онъ о минувшемъ, я о будущемъ.

— C'est un pelerinage d'expiation, сказалъ мнѣ принцъ.

Pélerinage de réconciliation, возразилъ я.

Да, время примирило всѣ вражды, залечило всѣ раны. Роскошныя жатвы всходили на нивахъ, утучненныхъ трупами, упитанныхъ кровью двадцати народовъ. Красныя села красовались на пепелищахъ деревень, когда-то растащенныхъ для бивачныхъ костровъ. Въ деревнѣ Горки, одинъ старикъ грѣлся на солнцѣ сидя на доскѣ, положенной на двухъ гранатахъ. Здоровые ребятишки рѣзвились на улицѣ. Одинъ изъ нихъ подбѣжалъ къ намъ, и вертя въ рукахъ пуговицу, сказалъ: Купите, баринъ, французскую пуговицу, отецъ мой вчерась выпахалъ ее изъ земли! Принцъ далъ малюткѣ червонецъ и взялъ отъ него бездѣлку. Вотъ судьба орловъ Наполеоновыхъ! сказалъ онъ, показывая ее намъ: на ней подъ орломъ выбитъ былъ нумеръ славнаго 61го полка.

— Да, бомба меня убей, это былъ храбр

полкъ! вскричалъ подполковникъ. Батарея наша стояла на гребнѣ, лихо окопана и сильно прикрыта! но этотъ чертовскій полкъ пошелъ на насъ молча, ружье подъ курокъ, рванясь подъ картечами какъ на разводѣ — только надвинулъ на глаза киверъ. Страшно и любо было смотрѣть на этихъ удальцовъ. Говорятъ, Багратіонъ закричалъ: браво, браво, и захлопалъ имъ въ ладоши. Я постигаю это увлеченіе: для героя исчезли тогда враги — онъ видѣлъ только неустрашимыхъ, кто-бъ они ни были. Только половина этого полка дошла до насъ и сбила насъ; другая лоскомъ легла на скатѣ.

— Съ нами, статься можетъ, черезъ часъ будетъ то-же: Турки за стѣнами сидятъ на смерть, особенно въ Ахалцыхѣ; онъ искони славится неодолимостію своихъ стѣнъ, неустрашимостью своихъ защитниковъ. Когда Французы дрались на дивo за пустое слово, за безумный замыселъ своего повелителя — не понимая ни того ни другаго, чего не сдѣлаютъ Турки, изувѣрные, безстрашные по природѣ, на защиту своей вѣры и родины? Въ нихъ непримирима ненависть, въ насъ ненасытна жажда отличій: битва будетъ ужасна. Я иду впереди на приступъ . . . и кто знаетъ, можетъ быть, паду изъ первыхъ! Какой-то неясный тайный го-

лось говорить даже, что я паду навѣрно . . . Другъ! тебѣ въ такомъ случаѣ предсмертный завѣтъ мой—дай слово, что ты исполнишь его?

— Это не личная месть?

— Сохрани Боже. Пусть никакая злоба не переживетъ меня! да и зачѣмъ ей вынаривать ядъ изъ костей моихъ, когда не могла она доселѣ выжать ни капли яду изъ этого сердца, полнаго любовью, одной любовью!

— Понимаю теперь: порученіе твое будетъ по сердечному отряду!

— О, не шути этимъ, Иванъ Ильичъ! Любовь моя для меня не одно сердце, не одна душа, но самъ я, но весь я: она моя мысль, мой свѣтъ, жизнь моя. Видишь-ли ты красное знамя надъ крѣпостью? Каждый изъ васъ превращаетъ его своимъ желаніемъ, кто въ патентъ на слѣдующій чинъ, кто въ орденъ, кто въ листъ реляціи, гдѣ его имя напечатаютъ не буквами, а звѣздами; но не крыло славы мнѣ вѣетъ въ этомъ знамени; нѣтъ: покрывало той, которую люблю. Дорога къ ней черезъ трупы, черезъ разбитыя стѣны, сквозь пламень и воду — и что устоитъ, когда я устремлюсь къ ней, съ саблею въ рукѣ? Кровь мою, всю кровь выпоилъ-бы я славѣ, если-бъ славу эту могъ я постлать себѣ въ изголовье, чтобы

съ ней вмѣстѣ склонить на него голову — и потомъ умереть.

— Мечтатель, мечтатель! произнесъ улыбаясь подполковникъ. Жаръ-голова!

— Чтожъ добраго дѣлалось-бы на свѣтѣ съ ледъ-головами! О, не отнимай у меня этой мечты: она мое неизмѣнное копье, мой конь-игрень, мои латы заколдованныя; мечта эта вина и цѣль моей отваги. Какое дѣло, одинаковы ли пружины, когда онѣ всѣ согласно двигаютъ машину къ общей пользѣ . . . Обѣщай-же мнѣ, Виноградовъ, что если меня не станетъ, ты съѣздишь въ Петербургъ; тамъ отыщешь одну даму, по адресу этого письма, и отдашь ей мои бумаги. Разскажи ей мою службу, мою жизнь, объ черезъ край полныя крови и желчи, лишеній и отличій. Военную славу избрала она свахою между ею и мною — скажи-жь ей, что я какъ Цезарь палъ у стопъ этого холоднаго идола славы, палъ хватясь за вѣнецъ! И послѣдняя мысль моя была *о ней*, и послѣднее слово мое было *ея* имя! . . . Другъ! ты исполнишь это? . . . обѣщаешь-ли ты мнѣ это?

— Вадимовъ, ты знаешь меня!

— Виноградовъ, ты понимаешь меня!

Друзья обнялись крѣпко, долго. Щеки обо-

ихъ были мокры, когда они подняли головы отъ плеча другъ друга.

— Какіе мы ребята! произнесъ подполковникъ. Что за невидаль приступъ! что за предчувствія смерти! Увидишь самъ, что выйдешь изъ дѣла цѣлъ и живъ; притомъ же и то сказать: можетъ быть, я угожу прежде тебя къ сатанѣ на ужинъ à la fourchette.

— По крайней мѣрѣ по расчету вѣроятностей, любезный Иванъ Ильичъ, едва-ли до тебя дойдетъ очередь умереть сегодня. Брустверъ довольно высокъ!

— Да не уже ли ты думаешь, что я усижу за этимъ брустверомъ до конца дѣла? Ей Богу нѣтъ! Бомба меня убей, нѣтъ! Когда колонны прорвутся за палисады, я подвезу свои орудія на пистолетный выстрѣлъ, и буду окачивать бусурмановъ чугуннымъ ливнемъ сквозь кровли и стѣны.

— Какъ-то еще позволятъ!

— О, я увѣренъ, что графъ позволитъ мнѣ, прикажетъ мнѣ это. Сидѣть на батареѣ сиднемъ, бомба меня убей! . . . Да, лучше быжмнѣ лежать со штыкомъ въ боку, подъ колесомъ моего орудія, которое Французы сбирались увезти съ Бородинскаго поля, чѣмъ лѣпать на бой, когда другіе дерутся. Да, братъ Вади-

мовъ! жарко здѣсь, а все таки не чета Бородину — я . . .

Народная война и потомъ война по Франціи, была слабая струна подполковника. Разсказы о нихъ приплетались у него ко всему и ко всѣмъ, то для сравненія, то для противорѣчія. «Вотъ ни дать ни взять такъ случилось подъ Смоленскомъ,» начиналъ онъ; «или тоже дѣло было подъ Кульмомъ! такъ-ли дрались мы подъ Фершампенуазомъ»! — И вслѣдъ за этимъ предисловіемъ тянулась безконечная, какъ Петергофская бумага, исторія о позиціяхъ, ошибкахъ, преслѣдованіяхъ, о всѣхъ ратныхъ случайностяхъ. Описанія его были необыкновенно вѣрны и оригинальны — его можно было заслушаться: онъ все видѣлъ самъ, всюдѣ былъ самъ; все зналъ, все помнилъ, да! на бѣду нашу, все, кромѣ того, сколько разъ онъ разсказываетъ одно и то-же, однимъ и тѣмъ-же. Видя, что разсѣло, Вадимомъ прервалъ многоглаголиваго артиллериста просьбою разглядѣть вмѣстѣ застынье Ахалцыха; и вотъ оба друга, вскочивъ на амбразуру, внимательно принялись изучать всю игру мѣстности: канавки, рытвины, пригорки, поясняя другъ друга замѣчаніями. Ядра и гранаты прыгали, летали черезъ нихъ, съ шумомъ разрывая воздухъ.

Между тѣмъ востокъ загорѣлся и окрестность почти вдругъ возникла изъ мрака, будто земля впервые озаренная солнцемъ изъ хаоса. Ни одного облачка не было на небѣ, никакого тумана по горамъ. Весь Ахалцыхъ открылся какъ на ладони. На высокомъ каменномъ сосцѣ дерзко встававъ старинный замокъ его, подпершись башнями и оскаливъ зубцы свои, между копьи сверкали пушки. Домы города, съ навѣсными ярусами, съ цвѣтными ставнями, съ плоскими кровлями, возвышались неровными, уступчатыми кучами, затиснъ между собою спутанныя улицы. Иные изъ нихъ, казалось, лѣзли въ гору къ стопамъ замка, чтобы пріютиться подъ его защиту; другіе словно разбѣжались по склону холма вдаль отъ жадности наши. Тамъ и сямъ среди нихъ просились въ небо стройныя минары*, получившія голосъ подобно статуѣ Мемнона отъ солнечнаго луча. Муэзины кричали свою обычную молитву, хотя рѣзъ пушекъ заглушалъ ее, а мѣткія ядра вырывали кирпичи изъ столба.

Кое-гдѣ, подлѣ изразцовыхъ или бѣлыхъ куполовъ мечетей, возносились стрѣловидные

---

* Не минаретъ по-Турецки мечетная башня, но минара.

тополи, и они свѣжо, отрадно зеленѣлись между грудами грязныхъ зданій, точно свѣтлыя мысли, запавшія случайно въ огромную книгу схоластическихъ нелѣпостей.

Всѣ валы, охватывающіе городъ, онушены были облаками дыма, и лишь когда вѣтерокъ раскатывалъ ихъ на мигъ, видны были разноцвѣтныя чалмы Янычаръ и Горскіе папахи надъ огрудниками.

Въ городѣ замѣчено было необыкновенное движеніе, ржаніе коней, скрыпъ колесъ, сверканіе оружія.

— Что это значитъ, сказалъ пріѣхавшій офицеръ, пристально посмотрѣвъ на ставку главнокомандующаго, которой золотая маковка виднѣлась изъ за холма. По приказу давно бы пора въ работу, а нѣтъ какъ нѣтъ вѣстовой ракеты.

— И очень хорошо, что поповже начнемъ, нашъ братъ Русскій любитъ драться на чистоту, не какъ ночной воръ. Да и вообще въ ночные штурмы суматохи не оберешься: много шуму, мало толку, толи дѣло днемъ, любо заглянуть врагу въ лицо, видишь куда бить, и кого бить.

— Это что нибудь да значитъ.

— Поживемъ, такъ увидимъ; умремъ, такъ уз-

наемъ. Но я разсказывалъ тебѣ про Бородино самыя обыкновенныя вещи, теперь разскажу я тебѣ происшествіе, само по себѣ ничего не значущее, однакожъ оно произвело на меня сильное впечатлѣніе:

Бородинское солнце, которое вовсе не по шерсти назвалъ Наполеонъ Аустерлицкимъ *, взошло. Бомбардиры мои замахали фитилями, оглядываясь, не скачетъ ли адъютантъ съ приказаніемъ стрѣлять. Противъ насъ выѣхала очень близко на холмъ Французская баттарея, и новенькія съ молоточка пушки, такъ заманчиво играли на солнцѣ, что мы нетерпѣливо грызли зубы пощелкаться съ ними. Глядимъ, какъ въ руку сонъ принесся на нашу баттарею волонтеръ, находившійся при главнокомандующемъ. Мы уже знали его въ лицо, но его имени, его родины никто не вѣдалъ.

—Генералъ Кутузовъ приказалъ сбить эту баттарею, сказалъ онъ нашему полковнику, онъ увѣренъ, что вы передъ нимъ оправдаете честь начать это дѣло. — Съ моей стороны позвольте мнѣ навести первую пушку.

Полковникъ былъ восхищенъ. Притомъ же

---

* Въ рѣчи своей передъ бородинскимъ сраженіемъ.

задобрить человѣка при штабѣ, человѣка въ милости у главнокомандующаго — великое.

Незнакомецъ спрыгнулъ съ коня, потрепалъ орудіе сверху, положилъ руку въ дуло, какъ бы давая мнѣ знакъ поцѣловать ее, и взялся за винтъ подъемнаго клина, будто давно выслужилъ фейерверкеромъ галуны. Но эта пушка была моя, мнѣ стало досадно; что за чортъ, думалъ я, что пріѣзжій отбиваетъ у меня первый кусъ славы! и я съ увѣренностію знатока поправлялъ его: — не много вправо, — немножко ниже — въ дулѣ есть разстрѣлъ.

Незнакомецъ гордо поднялъ очи отъ діоптра.

— М. г. сказалъ онъ, я самъ знаю, что дѣлать. Артиллерія, рѣшительница сраженій, не только мое ремесло, моя стихія. Будьте покойны, возьмите трубку. Видите ли вы надъ третьею непріятельскою пушкою золотаго орла? Это орелъ какого нибудь полка изъ прикрытія за гребнемъ баттареи. Взоръ его засверкалъ.—Я сшибу ему крылья, я сшибу тебя съ неба, орелъ Наполеона. Часъ твой грянетъ этимъ выстрѣломъ.

Признаюсь, я мало довѣрялъ похвальбѣ незнакомца, но между тѣмъ взоръ мой невольно перелеталъ отъ прицѣльной мушки къ орлу, который, казалось, ширялся надъ баттареей; всѣ наши орудія были наведены.

— Первая, скомандовалъ полковникъ. — *«Пли»* перенялъ незнакомецъ.

Орудіе запѣло, отскочивъ назадъ. Я зажалъ уши; я сроду не слыхивалъ такого оглушающаго выстрѣла.

Нѣсколько секундъ протекло отъ первой до второй команды, но когда раздалось третье «пли», первое ядро разбило колесо непріятельской пушки и мѣдный орелъ палъ.

Какой-то неизразимый восторгъ обуялъ всѣхъ насъ. Ура! закричали наши артиллеристы. — Ура, отдалось на обоихъ флангахъ: тамъ шли уже на штыки.

Незнакомецъ изчезъ въ дыму. И этотъ то самый незнакомецъ, котораго я готовъ былъ разцѣловать за выстрѣлъ изъ моей пушки, если-бъ онъ не уѣхалъ или мнѣ было досужно, тотъ, который далъ мнѣ какой то фаталитетъ въ успѣхѣ Русскаго оружія до того, что въ самыхъ неудачахъ нашихъ я напѣвалъ пѣсни, убѣжденный, что завтра все поправится — этотъ самый волонтеръ, теперь здѣсь у меня на баттареѣ, вотъ онъ.

Подполковникъ указалъ на крайнюю баттарею. Тамъ опершись рукою о дуло единорога стоялъ высокій, худощавый человѣкъ лѣтъ 50ти. съ выразительнымъ лицемъ. Онъ смотрѣлъ на городъ, но взоры его перелетали, и за городъ,

одинокаго Француза, парикмахера, который чѣмъ свѣтъ удралъ изъ предмѣстія засвидѣтельствовать свое почтеніе aux messieurs les Russes, поплатившись за это полою своего фрака: ее оторвалъ часовой, желая удержать бѣглеца...

— Чтожъ вы ждете, господа? говорилъ онъ, попрыгивая около огонька. Скорѣе въ городъ, тамъ есть чѣмъ погрѣть руки, я вамъ покажу гдѣ золотые раки зимуютъ, дайте мнѣ хоть тесакъ господа, я вамъ покажу что я недаромъ былъ лихимъ санкюлотомъ.

Въ этомъ можно было ему повѣрить; санкюлотизмъ гордо выглядывалъ изъ подъ всѣхъ прорѣхъ его необходимаго платья.

— Я бралъ бастилію, сказалъ онъ съ гордымъ видомъ.

Я сей часъ вспомнилъ Французскаго парикмахера у Іорика Стерна. «Окуните мой парикъ въ океанъ и ни одна кудря не распустится!» Въ океанъ, когда для парика за глаза довольно одного ведра.

— Я назывался тогда Катономъ, продолжалъ онъ по Французски, это значитъ непобѣдимый. Скорѣй же въ городъ, господа. Чего зѣвать, мы тамъ дадимъ себя знать, не правда ли! Что тамъ за женщины, что за лавки, господа. ... я за тѣмъ и пришелъ къ вамъ, что надѣялся пограбить.

Мерзавца прогнали пиками.

Видно Парижская чернь со временъ революціи сдѣлала успѣхи въ гражданскихъ добродѣтеляхъ. Разграбивъ дворцы и церкви своими руками, почему не ограбить своего сосѣда руками непріятеля? Это правосудіе!!

И вотъ ниж мой канонеръ-незнакомецъ. С ыкновенно веселъ.

— Здравств накомый, сказалъ онъ мнѣ, я ошу у васъ фитиля, но въ от ого только, чтобы закурить тру ны можете отвинтить дионтръ и надолго; надолго останетес ь цѣли. Сегодня мы увидимся

— Францу онъ махая бѣлымъ носовымъ платкомъ, долой орла, вотъ вамъ на мѣсто его знамя.

Онъ бросилъ имъ платокъ свой чрезъ палисадъ, съ насмѣшливой улыбкой, и поскакалъ вдоль палисадовъ.

Платокъ долго летѣлъ надъ головами по вѣтру и упалъ въ прахъ, никѣмъ не поднятъ.

— Что жъ отвѣчала великая нація?

— Да что она будетъ отвѣчать подъ пушками? Великая нація молчала, стиснувъ зубы.

Въ это время на баттарею сошлось много офицеровъ поглядѣть на крѣпость .... слухъ,

что приступа не будетъ, летѣлъ уже по лагерю. Зачѣмъ? Для чего? никто не зналъ.

Незнакомецъ казалось ничего не слыхалъ, онъ пристально смотрѣлъ въ зрительную трубку на одну изъ амбразуръ.

— Надвигаютъ орудіе . . . Господинъ Вельскій, сказалъ онъ, обращаясь къ одному молодому офицеру, посторонитесь, въ васъ цѣлятъ.

— У васъ видно зорки глаза, отвѣчалъ тотъ, когда вы можете читать отсюда надпись ядра кому оно назначено.

И онъ поднялъ еще выше голову надъ грудною обороною.

— Я сказалъ, мрачно молвилъ незнакомецъ...

Ядро взвыло между веселою толпою офицеровъ, Вельскій упалъ безъ головы къ ногамъ ихъ.—Бѣдняга, сказалъ хладнокровно незнакомецъ, стряхая со своего плаща кровь и мозгъ, которыми забрызгало всѣхъ окружающихъ.

На минуту затихъ говоръ и смѣхъ: всѣ съ недоумѣніемъ глядѣли, то на незнакомца, то на трупъ товарища.

— Начинайте, кричалъ адъютантъ графа издалека, махая подполковнику фуражкою.

Солнце всходило, пушки съ обѣихъ сторонъ перебранивались отрывисто. По каждый лучъ, падающій съ неба, казалось, запалялъ, какъ

фитиль, огонь новыхъ орудій, такъ, что когда солнце возникло въ полномъ блескѣ, вся окружность Ахалцыха закипѣла пальбою. Сначала мѣрно, хладнокровно отвѣчали наши баттареи на бѣшеную стрѣльбу съ валовъ; но потомъ будто разгорались постепенно гнѣвомъ, опѣ разъ за разомъ, чаще и грознѣе двоили, усиливали огонь свой, такъ, что когда городскія орудія, будто послѣ неистовства отъ опіума, притихли, падая въ дремоту безсилія, наши съ возрастающею лютостію, зыбля ревомъ землю, метали чугунный вихорь свой въ непріятельскія боянцы, — вихорь, которой долженъ былъ распылить и сместь ихъ съ лица земли.

Но приступъ былъ отсроченъ лишь на нѣсколько часовъ. Графъ Эриванскій хотѣлъ всполошить непріятеля, и успѣлъ въ этомъ, какъ нельзя лучше. Общая канонада превратилась въ частную перестрѣлку. Видя, что вѣсть о приступѣ несправедлива, Турки успокоились.

Къ полудню всѣ орудія умолкли и муэззины спокойно затянули свою: «Ля-илля илъ-Алла, Мугамедъ резулъ Алла Аліямъ вели-юлла.» Всѣмъ колоннамъ велѣно было сварить обѣдъ на мѣстахъ, и около 4-хъ часовъ по полудни, по вѣстовой пушкѣ, вдругъ кинуться съ трехъ сторонъ на приступъ.

Вадимовъ безмолвенъ стоялъ на огрудникѣ

баттареи, положивъ локоть на рукоять Турецкой сабли, которая лезвеемъ вверхъ, висѣла у него чрезъ плечо на шелковомъ шнурѣ. Онъ пожиралъ глазами городъ, онъ билъ ногой съ нетерпѣніемъ; ноздри его вздувались будто жаждая дыму битвы, запаху крови, лице разгоралося гнѣвомъ.

Не знаетъ тотъ чувствъ храбраго передъ боемъ, кто самъ не храбръ, кто самъ не бывалъ воиномъ. Трудно вообразить, какъ первый выстрѣлъ, услышанный вдали, превращаетъ природу человѣка, какъ одинъ и тотъ же электрическій ударъ можетъ зажечь порохъ и оледенить воду. Такъ пеыхаетъ сердце храбраго, между тѣмъ какъ сердце труса холодѣетъ. Куда дѣнется тогда усталость, и одинъ страхъ! не ушелъ бы непріятель, не послали бы меня въ резервъ, волнуетъ грудь. И вотъ чѣмъ дальше, тѣмъ болѣе открывается поле, по которому сверкаютъ огоньки, сквозь синія облачка дыма. . . Перестрѣлка кипитъ невнятно и слитно, только громы орудій разговариваютъ между собою изъ черныхъ тучъ, отрывисто, грозно: это языкъ смерти . . . и вотъ ядра, начинаютъ бороздить вашъ строй и землю . . . молча падаютъ ваши товарищи . . . чувство мести растетъ съ каждымъ шагомъ впередъ, жажда крови разгорается больше и больше . . . На-

конецъ въ каждомъ врагѣ, видишь личнаго злѣйшаго врага.

Всѣ ждали пѣшевой пушки съ напряженнымъ сердцемъ — она грянула въ 4-мъ часу, въ самую пору мусульманскаго обѣда. Вслѣдъ за ней раздался голосъ подполковника: «Залпъ будетъ — *пли*» — и двѣ палисадины разскочились въ щепы на воздухѣ, между тѣмъ какъ ядра и гранаты осыпали еще болѣе отакованный бастіонъ.

— Пушки на элевацію, закричалъ подполковникъ, и туча гранатъ, съ ревомъ раздирая воздухъ, зарокотала надъ головами Русскихъ . . . Земля дрогнула, пыль и дымъ взвились столбами.

Ширванскій полкъ, свернувшись въ колонну къ атакѣ, двинулся жѣрнымъ шагомъ, ровно, стройно; впереди, какъ на обыкновенномъ переходѣ, за застрѣльщиками шли пѣсельники съ громкими, веселыми пѣснями. Но этотъ переходъ велъ къ почлегу смерти. Турки на полкартечныхъ выстрѣла обварили колонну чугуномъ и свинцомъ. Страшно было смотрѣть, какъ ложились цѣлые ряды безстрашныхъ, но новыя волны храбрыхъ, бурно катились впередъ по трупамъ крутящихся въ пыли мертвецевъ, и вотъ черезъ брешь бастіона, таща на рукахъ одинъ горный единорогъ, колонна Ширванцевъ хлы-

нула въ городъ, гдѣ каждый домъ былъ крѣпостью. Сизая, съ огненными блестками полоса дыма, охватывавшая нашу колонну, развивалась дальше и шире и, наконецъ, достигнувъ до католической церкви, спорнаго пункта межь обѣими сторонами, потонула сражающихся — перестрѣлка слилась въ одинъ гулъ, бой сдѣлался общимъ.

Между тѣмъ саперы начали рубить палисады и устроивать переправу черезъ ровъ для переноза орудій. Срубленныя палисады сдали мостомъ, накатывая одну подлѣ другой. Пушки бастіона произывали рабочихъ съ боку; ружья Турокъ изъ за палисадовъ били въ упоръ, кровь лилась, убитые давили раненыхъ. Остервенѣніе было столь велико, что солдаты втыкали штыки въ промежутки палисадовъ, стрѣлялись на вѣрную смерть; Турки рѣзали кинжалами.

Мимо баттареи подполковника, бѣглымъ шагомъ шли баталіоны для подкрѣпленія штурмующихъ. Въ это время на баттареѣ, молодой артилерійскій офицеръ, бывшій подъ командою подполковника, спрыгнулъ съ брустверa, чтобы остановить объятіями своего брата юнкера, который съ пылкостію юноши шелъ въ первыхъ рядахъ на приступъ. Они молча сжали другъ друга, молча разстались — меньшой

братъ на бѣгу оборотился и послалъ рукой прощальный поцѣлуй брату, старшій перекрестилъ его вслѣдъ. Онъ безмолвно воротился къ своимъ орудіямъ, но каждый разъ когда подпинчивалъ ихъ, взоръ его искалъ брата, но сѣрая шинель его исчезала въ рядахъ солдатъ, ружье его слилось съ дулами другихъ ружей, и каждый лѣзущій на валъ, каждый падающій въ прахъ солдатъ, казался ему братомъ. Братья у него множились тысячами, падали сотнями, и онъ за всѣхъ ихъ боялся, страдалъ за каждаго.

Подполковникъ съ душевнымъ участіемъ глядѣлъ на терзанія добраго юноши, терзанія тѣмъ сильнѣйшія, что они были сдавлены на сердцѣ.

— Желалъ бы я заглянуть теперь въ сердце нашего главнокомандующаго, сказалъ онъ незнакомцу, который безстрастно смотрѣлъ на роковую схватку, сложивъ на груди руки. Какъ глубоко долженъ быть тронуть онъ, посылая столько славныхъ, столько храбрыхъ людей на смерть.

— Не уже ли вы думаете, подполковникъ, что сердца вождей вылиты изъ одного металла съ нашими? Если бъ это было такъ, то они не рѣшились бы ни на что великое. Они, дорожа частностями, потеряли бы цѣлое. «*Это необхо-*

дѣло,» есть, убѣжденіе и утѣшеніе героевъ. И въ самомъ дѣлѣ, что было бы съ нашимъ войскомъ, если бъ мы отступили. Вы знаете, что такое въ Азіи отступленіе. Это хуже бѣгства, и стало быть, приступъ неизбѣженъ, и — приступъ рѣшительный. Видите ль этотъ красный бейдахъ надъ крѣпостію, онъ грозно машетъ своими концами по вѣтру, будто вызываетъ на бой, на него то устремлены очи вождя — онъ не видитъ, какъ падаютъ наши, онъ ждетъ когда падетъ это знамя, когда Русскій мечъ подсѣчетъ его, и кровавый потокъ убьетъ это кровавое знамя. — Да, души великихъ, если не имѣютъ мелкихъ добродѣтелей обыкновеннаго человѣка, за то не имѣютъ и мелкихъ пороковъ . . . . . .

. . . . . .

. . . . .

1834 года.

ВЫСТРѢЛЪ.

..... Полковникъ разсматривалъ литографію, изображающую какую-то битву Русскихъ съ Турками въ 1829-мъ году; я разсматривалъ полковника: я былъ довольнѣе своею картиною. Любо мнѣ было видѣть его открытое лицо, просмугленное пороховымъ дымомъ; его высокій лобъ, на которомъ Французская сабля поставила удареніе прежде, чѣмъ душа написала свои глубокія строки; его черные волосы, въ которые походы, а не старость, бросили свой иней; его стройное, крѣпкое тѣлосложеніе, въ которомъ каждое мановеніе обличало отвагу... Онъ сидѣлъ, облокотясь правой рукой о столъ, въ лѣвой держалъ онъ трубку, позабывъ курить ее.

Видно было, как постепенно овладевали им досада и нетерпение: он колебал головою с презрительною усмешкою, взоры его разгорались ярче и ярче, ноздри вздувались; носком ноги бил он неравную такту, рука мяла уголь картины.

Сперва воспоминание военной жизни разливалось тихим румянцем по щеках его живых и живых, потом встрепенулось оно воображением битвы. Не в помнках уже, а в действительности вел он эскадроны вперед в атаку; он стрелял взорами; вытянутая рука будто хотела пронзить саблею врага; сквозь зубы будто вырывались брань и угрозы; казалось растопленным свинцом стекли долой с плеч его годы; кровь его закипела как прежде; он стал свеж и грозен, как прежде; он кипел, он в мыслях скакал и вдруг на всем разлете воображение его поскользнулось, как на льдине, на холодном, безжизненном изображении боя — бой, который совершался еще в глазах его пылок и разнообразен, со всей свежестью истины, со всей истиной ужаса. Прибавьте к этому, что живая картина войны отражалась, чертилась молниями в памяти солдата, который на войне вырос и устарел раньше поры, для которого война была жизнь, вся жизнь,

во всемъ раздольѣ этаго слова, и вообразите потомъ его негодованіе, глядя на пародію, на карикатуру этой поэмы, которую писалъ онъ такъ долго своими ногами по грязи и по скаламъ булатомъ сабли, огнемъ пистолета, потомъ лица своего, кровью сердца! Онъ разорвалъ эту литографію, и бросилъ на полъ обрывки.

— И вы, сударь, любитель художества, имѣли духъ хвалить подобныя картины, закричалъ онъ мнѣ съ гнѣвомъ, и вы, военный человѣкъ, могли сказать не шутя, что сраженіе тутъ изображено довольно истинно! — И то сказать, кто теперь не любитель, кто не военный? что у насъ на святой Руси не истинно? Стоитъ прогуляться съ любой газетою по Невскому, такъ придется носить шляпу на рукѣ, какъ перчатку, кланяясь героямъ, художникамъ, поэтамъ, правдолюбцамъ нашимъ, и совѣстью тѣмъ, чортъ меня осѣдлай, не въ укоръ будь имъ сказано, Андрей Петровичъ, наши хваленые батальные живописцы (о другихъ молодцахъ покуда молчокъ) не знаютъ въ своемъ дѣлѣ аза въ глаза. Вотъ вамъ одна изъ лучшихъ русскихъ литографій: нечего сказать загляденьице: въ подписи ни одной грамматической ошибки, да и нарисовано-то чистенько, нестрепыно, отчетисто; на рукѣ у каждаго ровно

5 пальцевъ, у всѣхъ лошадей по 4 ноги еполпа, даже сабли на лѣвомъ боку, ну, и со всѣмъ тѣмъ сударь, по мнѣ — лучше Суздальскія лубочныя картинки, которыя, съ тараканами и паутиной, составляютъ неизбѣжные обои каждой нашей станціи. Надъ ними покрайней мѣрѣ нахохочешься досыта; въ нихъ по крайней мѣрѣ увидите вы Русь на-голо: и духъ, и умѣнье, и просвѣщенье православныхъ мужичковъ. «Страженье пать Масквой; въ хоть вПарышъ; взятіе славнай крѣпасти Карса съ помощію флатиліи.» . . . Флотилія на рѣчкѣ, которую русской солдатъ выпьетъ съ похмѣлья. И тутъ, какъ водится, впереди валяется вверхъ ножками, или сидитъ на корточкахъ, раздутая пушка, и колеса у ней не болѣе звѣздочки на шпорѣ у генерала, который стоитъ подлѣ, верхомъ, отворотясь отъ сраженія и надувшись будто собирается чихнуть. Внизу убитый Французъ или Турка, пичкомъ. Еще далѣе, казакъ колетъ упавшаго всадника; у него и пика и борода подъ красною краскою! Безъ краснаго у Русскихъ и бой не бой, праздникъ не въ праздникъ: ужъ коли кушака нѣтъ алаго, за то носъ клюквой. Вотъ вамъ и обѣ арміи, каждая изъ семи рядовъ: одна палитъ, поднявши правыя ноги, словно кочерги, другая улепетываетъ, а за ней гонится

витязь на пряничномъ пѣтухѣ, и, къ довершенію очарованія вверху крѣпость, въ видѣ кабачка, съ перечницами вмѣсто башень, а внизу надпись съ нелѣпыми позгласами, за урядъ стиховъ. Глупо, за то смѣшно; за то на этомъ лубкѣ не подписано: «рисовано съ природы» какъ на вашей литографіи, между тѣмъ въ ней столько же природы, какъ въ Вольтеровой трагедіи. Да, сударь, я повторяю вамъ: наши художники или не имѣютъ поэтическаго чутья выдумать сраженіе, если его не видали, или не имѣютъ души постичь поэзію битвы, если ее видѣли.

Я осмѣлился спросить у полковника! чѣмъ онъ недоволенъ въ этомъ рисункѣ?...

Всѣмъ, сударь, всѣмъ съ верху донизу; всѣмъ вдоль и поперегъ, равно мыслью какъ исполненіемъ. Съ того начать, что за притязаніе представить чуть не цѣлое поле? глазъ много видитъ, да зубъ нейметъ. Вотъ почему картина эта ни дать ни взять раззоренный муравейникъ; вниманіе раздергано во всѣ стороны и нигдѣ не захвачено въ плѣнъ. Да и что это за дымъ? что за огонь пушки? онъ воткнутъ въ жерло ея какъ метла изъ лучей! Я не знаю ничего величественнѣе, ничего прекраснѣе баттареи, которая грозитъ васъ съ гребня холма: въ небѣ ясно, а вкругъ нее

тучи ходятъ; онѣ летятъ, волнуются, кипятъ, то вспыхиваютъ, то гаснутъ вдругъ; каждый выстрѣлъ бросаетъ новые узоры, новыя краски въ эту зыбкую картину; и какъ чудно-прелестенъ этотъ выстрѣлъ! сквозь дымъ, полураздунутый имъ, онъ мелькаетъ какъ взоръ генія сквозь будущее, ярокъ, пылокъ, неуловимъ; мелькнулъ и нѣтъ его!

Огонь выстрѣла не пламя багровое пожара, не синій блескъ молніи, не звѣзды искры его; нѣтъ, въ немъ есть все это, въ немъ играетъ румянецъ зари и блѣдность мѣсяца; кровь ранъ и радуга завѣта вмѣстѣ, и въ слѣдъ за тѣмъ съ мѣднаго зѣва, какъ вихорь, взвивается опаловидное облако, меркнетъ, синѣетъ, чернѣетъ, и быстрымъ зміемъ крутится вверхъ, или порой, вспархиваетъ вѣнцомъ, летитъ, летитъ шире, и шире и наконецъ, догнавъ своихъ собратій, исчезаетъ, какъ волна въ волнахъ дыма — и между тѣмъ, озаренные сосѣднимъ выстрѣломъ артиллеристы, черныя на огненномъ полѣ, мелькаютъ словно тѣни; и мнѣ видно какъ они надвигаютъ орудіе, машутъ банниками, и, снова потонуло все въ пучинѣ мрака. Напишите мнѣ одну пушку съ такимъ выстрѣломъ, въ такое одушевленное мгновеніе и это будетъ цѣлая картина, полная поэма!.. Пушку только, говорю я; а что если

вы окружите ее артиллеристами каждаго съ своимъ лицемъ, съ разными чувствами на лицахъ! — Выстрѣлъ только что грянулъ, туча распахнулась; посмотрите, съ какою нетерпѣливою заботливостію бросается капоперъ съ банникомъ къ дулу, а фейерверкеръ къ запалу, чтобъ заткнуть его пальцемъ; вы скажете, они ждали ея звука, какъ вы перваго «люблю»; третій, вынимая изъ сумы зарядъ, косо глядитъ на орудіе; онъ кажется молвитъ ему: «ѣшь, собака! ѣшь, ненасытная!» отряхаетъ ухо, вложивъ въ него мизинецъ, будто хочетъ выпустить оттуда, какъ воду, выстрѣлъ, отъ котораго звѣнитъ у него въ головѣ. Фейерверкеръ, который наводилъ орудіе, отѣнивъ рукою глаза, пытливо смотритъ вдаль куда пошло ядро; зубы его стиснуты угрозой, не все лице отдано ожиданію; это уже есть желаніе отличиться, это уже зародышъ честолюбія. Оно рѣзко развито на лицѣ офицера; онъ кажется летитъ въ его дыму, онъ упивается его дымомъ. Вглядитесь въ лице этаго честолюбца: сабля его — лучъ, пронзающій облако; онъ весь страсть; въ тучахъ битвы онъ видитъ только восходящую звѣзду свою; туда его взоры; тамъ его сердце; — онъ поднялся къ ней на стременахъ; онъ хочетъ коснуться до ней своей саблею. Помани она, и онъ готовъ раздавить

своимъ орудіемъ первaго друга, навести его на грудь старшаго брата; — орудія для него не больше какъ орудія; онъ безъ сожалѣнія утопитъ ихъ въ болотѣ крови; онъ занятъ ими, занятъ сраженіемъ, какъ пылкій любовникъ занимается лѣстницею и темнотой ночи, которыя проведутъ его къ окну милой. Настоящее для него—колесо, на которомъ онъ катится къ цѣли, а цѣль его, душа его весь онъ въ будущемъ. Въ противоположность ему, посмотрите на коня его, посмотрите на этаго бомбардира, заботливо обдувающаго фитиль; конь конно не раздѣляетъ страсти своего властелина; онъ заворотилъ голову и заигрываетъ съ цѣночкою мундштука, ревъ пушекъ и ропотъ летающихъ ядеръ не пугаютъ его; привычка истребила въ немъ страхъ, а усталость жаръ. Онъ преспокойно смотритъ на гранату, съ огнемъ и съ пылью крутящуюся у ногъ его, и не пятится; онъ не трогается съ мѣста, хотя шпоры бьютъ его въ бокахъ его— ни дать ни взять народъ, который пустилъ корни въ безстрастіе и не хочетъ двигаться ни назадъ, ни впередъ.— Бомбардиръ сонесъ другое; въ немъ уже видна не животная, но солдатская привычка; обдувая фитиль, онъ поднялъ правой локоть надъ колесомъ, не ниже, какъ столько, чтобъ оно прикатилось при

отдачѣ орудія, не задѣвъ его. Онъ видитъ, онъ знаетъ, что подлѣ него, сей часъ, лопнетъ граната; но онъ стоитъ вытянувшись, потому что въ артикулѣ нѣтъ команды, какъ избѣжать взрыва гранаты. Притомъ онъ принадлежитъ къ тому классу людей, которымъ никогда не впадала въ голову мысль разгадать загадку жизни или смерти; для него жить значитъ ходить у колеса пушки, все равно ему —бить стѣны, или бить людей, онъ никогда не спроситъ, зачѣмъ? — Доказательство тому, что онъ живетъ въ настоящемъ, что онъ живетъ только тѣломъ; онъ сторонится отъ искръ фитиля, чтобъ не спалить усовъ, не отстаиваетъ даже ноги отъ гранаты, которая можетъ убить его, — настоящій солдатъ, какихъ желалъ Наполеонъ, чтобы завоевать, чтобы пройти, чтобы опрокинуть вверхъ дномъ весь свѣтъ, и правду сказать, Русской штыкъ стоитъ Архимедова рычага. Мало вамъ и этаго романтизма, очеркните же на переднемъ планѣ, въ облакѣ дыма, неясный, но ужасный призракъ судьбы, съ неумолимою усмѣшкою на лицѣ, съ протянутой, съ разверстой жадно рукою, чтобы схватить рвнутое изъ жерла ядро и устремить его въ цѣль, на перекоръ всѣхъ расчетовъ человѣка.

Не видалъ я человѣка раздражительнѣе и вспыльчивѣе полковника. Онъ переливался въ

чувство, въ страсть; который, каждый образъ, изображалъ рѣчью, и тутъ, увлеченный своимъ созданіемъ, онъ возникъ въ волнахъ дыма трубки, съ сверкающимъ злобою лицемъ, съ распростертыми руками, какъ будто отмѣчая перстомъ лѣвой руки чело честолюбца и хватая правою ядро; вся картина боя вспыхивала тогда передъ нимъ огненными чертами. Орудіе съ громомъ отпрядывало назадъ, взрывая хоботомъ землю, и злобно визжа какъ Черкесъ, сбросившій на врага огромный камень съ утеса. Артиллеристы засуетились около орудія; будто ужъ знакомое лице офицера мелькнуло сквозь дымъ, и впереди грозенъ, ужасающъ возникъ призракъ судьбы, кровь капала съ рукъ его, его взоръ оледенялъ какъ лучъ мороза. Я содрогнулся! но въ полковникѣ и во мнѣ обаяніе было мгновенно . . . онъ улыбнулся не роковымъ, а самымъ обыкновеннымъ человѣчьимъ образомъ, закурилъ свою трубку, и сѣлъ.

—Да, продолжалъ онъ, утихая, какъ бокалъ шампанскаго, да, безумно браться изображать цѣлое сраженіе. Это невозможно физически и логически. Картина есть мигъ драмы, слѣдовательно въ немъ должно быть единство дѣйствія, надо чтобы все и всѣ столпились около главной мысли, чтобы они на плечахъ

выносили ее на свѣтъ, чтобъ она была тараномъ въ сердце зрителя. Для меня изображеніе солдата, котораго рѣжутъ Горцы, во сто кратъ занимательнѣе панорамы, на которой полки мухъ сражаются съ полками блохъ . . . Упади при васъ въ воду ребенокъ, я не ручаюсь, что вы не кинетесь спасать его; но пусть тонутъ люди въ двадцати мѣстахъ вдругъ, вы, хотя бы плавали лучше Финскаго тюленя, станете выбирать кого спасти, разсуждать какъ спасти, и они всѣ успѣютъ отправиться на жемчужную ловлю прежде, чѣмъ вы рѣшитесь получить для нихъ насморкъ. Таковъ человѣкъ! Гибнутъ тысячи въ сраженіи, онъ и ухомъ не ведетъ; Лиссабонъ провалился, онъ танцуетъ; холера у дверей, а онъ поетъ: «за горами за долами;» но разбей себѣ пьяница носъ на мостовой; упади пристяжная у вельможи — сей часъ соберется около куча народу, и охать, и пособлять, и совѣтовать, — таковъ человѣкъ!... на цѣлый свѣтъ не стаетъ у него сердца, а на частную бѣду онъ готовъ бросить его такъ же скоро какъ червоннаго туза; только сердце, говорю я, потому что оно не стоитъ ни копѣйки. Пользуйтесь же этимъ расположеніемъ: высѣкайте изъ мрамора Лаокоона или Двухъ Борцовъ, создавайте Отелло, Гяура, Фауста, пишите какъ Вернетъ ошибку въ 4, въ 5 ли-

цахъ, изобразите рубаку Генриха IV, когда онъ кидается въ самый пылъ сраженія, восклицая: ne m'offusquez pas, je veux paraître; Наполеона на мосту Аркольскомъ, со знаменемъ въ рукахъ; нашего Петра, когда онъ говоритъ подъ Полтавою солдатамъ своимъ: » помните, что вы сражаетесь не за Петра, а за родину», когда онъ прыгаетъ въ разверстую пасть Балтики, чтобы спасти флотъ свой, разбитый бурею. А то, что вы задрямили мнѣ вездѣ лѣпить безконечные барельефы, похожіе больше на Конную, чѣмъ на битву въ 20 верстъ раздолья; писать свои картины сраженій со словъ реляціи съ топографическими подробностями! Не знаю право куда заведетъ этотъ духъ безконечно малыхъ — эта страсть къ единообразію? — Посмотрите-ка, продолжалъ онъ, складывая разорванныя лоскуты литографіи, посмотрите на этихъ солдатъ, на этихъ коней, всѣ они вытянуты и затянуты въ мундиры, у всѣхъ кивера съ султанами, люди будто собрались на парадъ, кони вылощены какъ на скачку, усы подобраны, хвосты расчесаны; то ли бываетъ на дѣлѣ, и въ дѣлѣ то ли? Во-первыхъ солдаты наши дерутся всегда въ шинеляхъ, подтыкаютъ полы за ремень, на который страсть у нихъ понавѣшать мѣшечокъ: у кого съ табакомъ, у кого съ солью, съ сухарями; какія нибудь цвѣтныя шаровары забраны въ сапоги,

у которыхъ, надо замѣтить, немазаны голени-ща; ранецъ запрокинутъ назадъ; сума не рѣд-ко поворочена подъ руку, чтобъ ловче доста-вать патроны; киверъ въ чехлѣ и набекрень; но, чортъ меня осѣдлай, если бы даже я былъ не солдатъ, а просто художникъ, я предпочелъ бы этихъ по[illegible]еликопостныхъ греч-невиковъ за[illegible] удалой рожѣ Рус-скаго солдат[illegible]съ заплатами, съ за-валенныхъ [illegible]мъ, съ прибаутка-ми въ зуба[illegible]течью, у котора-го одна ще[illegible]а водкой, а дру-гая порохом[illegible]съ растрепанъ вѣ-трожъ, а пра[illegible]венышками. И какъ не понимаютъ[illegible] баталики наши то-го, что шер[illegible]еть гораздо болѣе игры тѣнямъ, слѣдственно болѣе эффекту кар-тинѣ, и вотъ почему неуклюжія, косматыя лошади Орловскаго всегда будутъ цѣнѣе ан-глизированныхъ, піафирующихъ лошадей За-уервейта . . . Вернѐтъ всегда выше Дезарно. Притомъ, ни на одной картинѣ не видывалъ я, чтобы убитые были обнажены, а ни въ од-номъ сраженіи, чтобы они были одѣты. Нель-зя вообразить быстроты, съ какой обдираются убитые въ дѣлѣ; не успѣетъ иной бѣдняга упасть и ужъ голъ какъ мать родила, по край-ней мѣрѣ, если одежда и обувь его не въ ло-

скутьях. Не видишь и не узнаешь кто ихъ раздѣваетъ такъ проворно!! и кавалерія прехладнокровно скачетъ по трупамъ, и колеса орудій давятъ ихъ такъ, что кости хрустятъ; и зачѣмъ же нѣтъ этого здѣсь? Художники жалуются, что имъ нѣтъ теперь выказать человѣческое тѣло; да вотъ оно имъ, вотъ во всей ужасающей наготѣ, въ судорогахъ кончины и боли, въ леденомъ покоѣ смерти, въ грязи, въ крови, истерзанное свинцомъ и желѣзомъ.

— Но развѣ не бываетъ исключеній, полковникъ, сказалъ я, развѣ не случается, что послѣ схватки, и свои и непріятели расходятся быстро, или такъ быстро преслѣдуютъ опрокинутаго, что оставляютъ своихъ раненыхъ и убитыхъ на Божью волю?

— Да, бываютъ исключенія, сказалъ онъ, но онъ очень рѣдки, и то когда летучій отрядъ дрался съ фуражирами или съ рекогносцирующимъ отрядомъ безъ обоза, безъ лазаретныхъ фуръ, безъ деньщиковъ и маркитантовъ*, и тамъ гдѣ прошла пѣхота, раненые останутся, но убитые будутъ раздѣты: это вѣрнѣе смерти.

---

* Это такой народъ, что обдираетъ мертвыхъ дерзко и ловко, какъ наши модные сочинители.

—Поле сраженія! произнесъ потомъ полковникъ разсѣянно, говоря самъ съ собою . . .

Видно было, что предъ его глазами воскресало былое, что боевые образы и картины рисовались на дыму его трубки, подобно привидѣніямъ въ парѣ волшебнаго котла вѣдьмъ.

—О какъ плѣнительно-ужасно поле сраженія часовъ 5 послѣ дѣла, когда дымъ улетитъ въ небо, когда боевыя страсти улягутся въ душѣ зрителя, когда мертвая тишина льется съ блескомъ мѣсяца на эту жатву судьбы! и какъ рѣдко случается солдату созерцать это безгробное кладбище! У него нѣтъ досуга или нѣтъ охоты, а всего чаще средства: если и случится ему на ординарцахъ или въ разъѣздѣ скакать ночью чрезъ поле, усѣянное трупами, онъ неспокойно шпоритъ коня, но мечтаетъ о томъ, какъ бы скорѣй исправить порученіе, приласкать чайникъ на огонькѣ и добыть торбу овса коню своему. Да, только однажды по всю мою службу случилось мнѣ . . .

Полковникъ сморщился будто отъ физической боли и задымилъ трубкою, затягиваясь долгими глотками; пауза длилась съ минуту, а эта минута по крайней мѣрѣ полчаса по циферблату моего нетерпѣнія. Наконецъ я не выдержалъ; я пристадъ къ полковнику безотвязно, чтобъ онъ разсказалъ когда и какъ и

что случилось ему видѣть . . . Сначала отпѣкивался онъ, потомъ сдался; по всей вѣроятности это была хитрость коменданта, который ведетъ переговоры, покуда не подвезутъ ему снарядовъ. Кокетство весьма позволительное старому служивому.

— Чортъ меня осѣдлай, началъ онъ.

Восклицаніе это употреблялъ полковникъ всегда вмѣсто заглавной буквы при всѣхъ сердечныхъ, т. е. картечныхъ, разсказахъ своихъ.

—Чортъ меня осѣдлай, мы славно дрались въ 12-мъ году подъ командою Витгенштейна. Съ этой зимы я снималъ и въ дождикъ фуражку предъ каждымъ изъ своихъ гусаровъ, каждому говорилъ «здравствуй товарищъ» и пусть выбреютъ мнѣ усы, если не я гордился этимъ именемъ! Грѣшное дѣло, не всегда-то весело таскаться въ походѣ по слякоти, не зная куда, не зная зачѣмъ, или стоять въ пикетѣ съ голоднымъ брюхомъ; бывало въ другіе походы ропщешь на весь свѣтъ т. е. на весь штабъ, но въ 12-мъ году я не слыхалъ ни однажды ропота. Голодны, истомлены, а чуть затрубили генералъ - маршъ, каждый гоголемъ, ѣдетъ весело, дерется лихо, умираетъ молодцемъ. Я командовалъ тогда эскадрономъ; я былъ тогда въ авангардѣ; ну-съ, да не о томъ дѣло. И вотъ паскочили мы однажды, невдалекѣ отъ

деревни, на Французскихъ латниковъ. «Строй взводы, строй эскадроны, сабли вонъ, маршъ маршъ,» — несемся, а кирасиры стоятъ себѣ какъ стѣна. Народъ — лѣсъ, кони — слоны; только черные хвосты шишаковъ играютъ по плечамъ, да кони машутъ гривами; славно жъ и встрѣтили они насъ разбойники: залпъ изъ карабиновъ ихъ сварилъ изъ нашего фрунта кашу; подо мной лошадь — брыкъ, я съ нею объ земь, бьюсь подъ нею; гусары мои вертятся и, какъ водится, съ крикомъ «ура» собираются улепетнуть. Меня такъ и взорвало. Трубачъ въ это время соскочилъ съ сѣдла, и хотѣлъ было посадить меня на коня своего, но мнѣ было не до коня. «Впередъ, мерзавцы» закричалъ я своимъ гусарамъ; посмотрю я, кто посмѣетъ бросить своего командира, и съ саблею въ рукѣ кинулся на латниковъ, которые въ 40 шагахъ осыпали насъ пулями и проклятьями. Разумѣется меня опередили. Ура слилось въ какой-то ревъ остервенѣнія, и латники были пробиты, смяты. Они сдѣлали вольтфасъ безъ команды. Но, чортъ меня осѣдлай, не завидовалъ я ни разу атакамъ Французкой кавалеріи, а ретирадѣ признаюсь тутъ позавидовалъ. Сбить съ поля не значило еще разбить латниковъ. Подъ топотомъ, подъ брякомъ оружія и подъ стрѣльбой рѣзко по-

слышались голоса французских офицеров, «Attention, conversion par quatre à droite, au galop, marche» и вдруг изъ цѣлаго полка нажъ остались лишь восемь задних рядовъ колонны; голова ея врѣзалась уже въ тропинку дремучаго лѣса.

Увлеченный запальчивостію, я не переставалъ преслѣдовать отступающихъ. Двадцать разъ выскакивали мои передовые на хвостъ послѣдняго отдѣленія. Да чорта ты ему сдѣлаешь въ кирасѣ — словно въ кувшинѣ; шея и руки подъ хвостомъ каски; французскіе латники были непроницаемы; клинки наши скользили по желѣзу, а между тѣмъ, оборачиваясь они, не разъ жаловали тычками своихъ длинныхъ палашей гусаровъ моихъ. Меня всѣхъ болѣе взбѣсила дерзость нахальнаго ихъ унтеръ-офицера; вѣдь онъ этотъ вертится какъ-нибудь всего фрунта и рубитъ насъ на чемъ свѣтъ стоитъ; и уже два раза положилъ на крестецъ его оребрія Русское тавро, не унимается да и только. Выхватить свой пистолетъ изъ ольстриди, я подскакалъ къ нему шагомъ на 5, чтобы вѣрнѣе проникнуть свинцомъ его туловище сквозь латы, какъ онъ вдругъ осадилъ коня, огрызнулся на меня изъ подъ гривы своей, какъ волкъ, и заложивъ карабинъ подъ лѣвое плечо, спустилъ курокъ въ одинъ мигъ со

мной! Чортъ меня осѣдлай, мнѣ кажется, я еще теперь слышу его злой хохотъ, такъ что узналъ бы его въ цѣломъ хорѣ адскихъ пѣсельниковъ, лице его покажу я пальцемъ и на страшномъ смотру между милліонами грѣшниковъ, хоть мы всѣ будемъ тамъ не только безъ латъ, но даже безъ мундировъ. Мнѣ казалось, что этотъ выстрѣлъ разорвалъ мою голову какъ гранату, что она разлетается искрами, больше не помню.

Ужасная боль въ головѣ, пробудила меня; воздухъ въ ушахъ журчалъ, какъ журчитъ вода въ уши утопленника; пытаюсь открыть глаза, тяжелы, будто смерть уже приложила къ нимъ свинцовую печать свою; открываю, кровавые звѣзды и тѣни ходятъ передо мною, гдѣ я, что я? ничего не постигаю! чувствую только, что мнѣ холодно, что какое то бремя давитъ меня; силюсь встать, силюсь крикнуть, нѣтъ движенія, нѣтъ звука въ гортани; ужасъ напалъ меня; мнѣ казалось, что я зарытъ въ землю, и вдругъ будто попроснѣлся и въ глаза мнѣ заглядываетъ мѣсяцъ; озираюсь, гляжу, — передо мной лѣсъ, справа и съ лѣва лѣсъ, поляна кругомъ, трупы людей, и коней, и тихо вездѣ какъ въ могилѣ. Изголовье мое замерзшая кровь изъ пробитыхъ на вылетъ челюстей; на мнѣ поперегъ лежитъ убитый кирасиръ . . . . . .

свѣтѣ и цвѣтѣ; хоть бы могъ еще наслаждаться я бытіемъ; хоть бы капля божественной росы пала на мое созженое сердце! Напрасныя мольбы! погибшія надежды! Роковая закваска смерти уже бродитъ во мнѣ, бушуетъ съ кровью! Да будетъ!

Чувствую, что разумъ измѣняетъ мнѣ, что рука измѣняетъ волѣ... Однако я буду писать, покуда смогу... Это развлекаетъ, это занимаетъ меня... Притомъ я хочу сдѣлать полезными даже минуты своей кончины. Пускай лекаря разлагаютъ ощущенія зараженнаго чумою, угадываютъ причину его дивнаго бреда!.. Почему знать, можетъ искусство отъ того и выиграетъ, я буду историкомъ страданій моихъ.

Задолго прежде, чѣмъ болѣзнь проявилась, во мнѣ исчезла веселость духа; внезапная робость, безвинная печаль нѣсколько разъ потрясали сердце; глаза вдругъ кружились въ вихрѣ тумана или звѣздъ; рѣзкіе звуки пронзали слухъ; тамъ и сямъ въ жилахъ, будто падала кипучая капля; но это было такъ рѣдко, такъ быстро, что минуту спустя, я думалъ, что мнѣ почудилось. И, мало помалу, какое-то свинцовое чувство тяжести стало одолѣвать меня... Глухая боль сдавила составы, и какъ змѣя начала сосать сердце; мысль: я зараженъ

ЖУРНАЛЪ ВАДИМОВА.

Ахалцыхъ. Чума. Вадимомъ зараженъ.

Дайте мнѣ писать собственною кровью, это облегчитъ меня, это быть можетъ, спасетъ меня!... Безжалостные! они меня не слушаютъ, даже не слышатъ, они чуждаются больнаго; всѣ бѣгутъ зараженнаго; я брошенъ одинъ, одинъ съ чумою, меня пожирающею. Только смерть сидитъ у ногъ моихъ и заботливо глядитъ на меня пустыми своими очами. Она глядитъ на меня такъ умильно!... Жадный взоръ коршуна на полѣ сраженія сносите твоей улыбки!...

Да, прекраснъ міръ, жизнь плѣнительна, сладка любовь, какъ сладка!... Хоть бы я могъ взглянуть еще разъ на него въ полномъ

свѣтѣ и цвѣтѣ; хоть бы могъ еще наслаждаться я бытіемъ; хоть бы капля божественной росы пала на мое созженое сердце! Напрасныя мольбы! погибшія надежды! Роковая закваска смерти уже бродитъ во мнѣ, бушуетъ съ кровью! Да будетъ!

Чувствую, что разумъ измѣняетъ мнѣ, что рука измѣняетъ волѣ... Однако я буду писать, покуда смогу... Это развлекаетъ, это занимаетъ меня... Притомъ я хочу сдѣлать полезными даже минуты своей кончины. Пускай лекаря разлагаютъ ощущенія зараженнаго чумою, угадываютъ причину его дивнаго бреда!.. Почему знать, можетъ искусство отъ того и выиграетъ, я буду историкомъ страданій моихъ.

Задолго прежде, чѣмъ болѣзнь проявилась, во мнѣ исчезла веселость духа; внезапная робость, безвинная печаль нѣсколько разъ потрясали сердце; глаза вдругъ кружились въ вихрѣ тумана или звѣздъ; рѣзкіе звуки пронзали слухъ; тамъ и сямъ въ жилахъ, будто падала жгучая капля; но это было такъ рѣдко, такъ быстро, что минуту спустя, я думалъ, что мнѣ почудилось. И, мало помалу, какое-то свинцовое чувство тяжести стало одолѣвать меня... Глухая боль сдавила составы, и какъ змѣя начала сосать сердце; мысль: я зараженъ

— пробила мозгъ подобно Конгревовой ракетѣ = она рвала, терзала, жгла мою голову; ея не = угасимыя брызги западали какъ сѣмяна в = сердце; онѣ произрасли уже адскимъ пламе- = немъ.

Я чувствую порой какъ раскаляются мои = легкія, какъ [illegible] онѣ и стрѣляютъ = молніями въ [illegible]вствую какъ кипитъ, = клокочетъ кр[illegible]о растопленная мѣдь: = то прорыва[illegible] потокомъ, то, капля = по каплѣ, цѣ[illegible]оставы, . . . и потомъ = вдругъ оста[illegible]на; смерть силится = холодомъ ко[illegible]своей закрыть упор- = ныя очи. О[illegible]я минуты!

Но вотъ я [illegible]ю для новыхъ стра- даній! Малѣ[illegible]едва замѣтный звукъ извнѣ, раздир[illegible]ь моего уха; кажет- ся все тѣло мое превращено въ слухъ, всѣ фибры въ завѣтныя струны: они страшно звѣ- нятъ отъ малѣйшаго повѣва вѣтра, они бичу- ютъ, разрываютъ меня! Трепетаніе ихъ сы- плетъ на меня жгучія искры, будто отъ раска- ленной проволоки; адскіе звуки ихъ облива- ютъ огнемъ мое тѣло, проницаютъ душу, буд- то ядовитыя стрѣлы, рвутъ ее словно клещи- ми! Они звучатъ какъ вздохъ кончины любви, какъ проклятіе матери, свистятъ какъ удары кнута! . . . И чего мнѣ не слышится въ этихъ

аккордахъ пытки! То хохотъ разбойничьей пирушки, то стоны зарѣзанныхъ, то скрежетъ зубовъ нѣчнаго ада, то вой волковъ, спорящихъ о добычѣ, и наконецъ клики демоновъ!... И потомъ опять все стихало, все погружалось въ мертвенность... Слухъ напрасно улавливалъ тончайшее дыханіе тишины — нѣтъ звука... нѣтъ движенія! Лишь изрѣдка, мнится, возникаетъ что то, будто тихо ползетъ могильный червякъ, будто скользитъ подземная капля сквозь камень склепа!... Такъ бываетъ, покуда какой нибудь скрытъ двери, или «слушай» часоваго на валу, не вопіетъ опять зубовъ пилы въ мое сердце....

За то въ минуты отлива болѣзни, въ минуты сладкаго разслабленія, даруемыя природою на долгіе часы нестерпимыхъ, непрерывныхъ мукъ, порой слышу я, какъ возникаютъ во мнѣ тихіе звуки, сперва отдѣльно, отдаленно, будто звѣзды на туманномъ небѣ, и потомъ, будто сливаются они въ электрическіи кисти, въ стѣнные аккорды,.... и съ благоговѣніемъ прислушиваюсь, тогда, къ гармоническому біенію своего сердца.... Кажется, будто крыло серафима навлекаетъ ноть тысячи струнъ его неземныя пѣсни! дыханіе мое звучитъ, какъ обаятельная свирѣль, какъ вѣтерокъ, играющій тростникомъ моря!.. тысячи

голосомъ не[illegible]ть въ груди моей... Я внимаю, мнѣ кажется тогда, плавному теченію крови: она, то рокочетъ ключемъ, падающимъ со скалы, то раскипается какъ гармонія дождя, то какъ море, когда оно, засыпая между камнями, шепчетъ вечернюю молитву свою.

Да, кровь [illegible]ол, самъ я будто расплываюсь [illegible]ю; — въ ней свѣжѣетъ весенн[illegible]ева неба, я дышу тихою выбьи[illegible]ть; — я весь тишина и ясность [illegible]орой твой ангельскій голосъ, [illegible] душа моя внимаетъ жадно ея [illegible]ивійскіе росу неба, она расп[illegible]очной цвѣтокъ.

Но кратки[illegible]жества; это роскошныя пала[illegible]двумя виталищами пытки: бломбами и колодцами*, это мгновенная радость летучей рыбы, которая въ глуби и въ воздухѣ добыча враговъ.

И вдругъ, мнится мнѣ, будто грудь и голову мою разторгаетъ, взрываетъ волканъ; весь составъ мой вздувается въ неполинскія, неизмѣримыя формы и я какъ бы отдѣляюсь отъ моего существа, выхожу въ самаго себя, и подобно тѣни Данта, протекаю въ сумракѣ лабиринтъ моего сердца и мозга, прощая съ изумленіемъ микроскопическіе изгибы окрестъ;... и вижу

* Тюрьмы въ Венеціи.

игру внутренностей; я присутствую процессу крови и слѣжу длинный гордіевъ узелъ тѣла и души, чувствъ и мыслей, который за пищетою языка, называемъ мы «*сердце*». Но помыслы и думы, мечты и воспоминанія, страхи и надежды, все изъ чего соткано былое, настоящее и грядущее, все, что заключаетъ въ себѣ нравственную жизнь человѣка, все это является мнѣ въ образахъ, въ которыхъ зачалось или представилось оно въ умѣ, въ образахъ чудныхъ, прихотливыхъ, иногда нелѣпыхъ, чудовищныхъ. Какъ спутанная цѣпь, какъ лѣсъ поломанный бурею, какъ міръ убитый незапнымъ морозомъ, лежали въ этомъ длинномъ, безграничномъ архивѣ мои повѣрья, мои воспоминанія: то повитыя цвѣтами, невинны какъ дѣти, то связаны змѣей, то попалены перуномъ, будто казненные Титаны. То были чертоги сна, описанные Виргиліемъ; то Мильтоновъ рай и адъ Данте смѣшанные, набросанные, какъ незрѣлыя мечты, полурожденныя думы. И мысли, давно забытыя или еще невозникавшія никогда въ душѣ моей, лежали рядами какъ дивы, спящіе сномъ волшебнымъ подъ ризою мрака. И все, что читалъ, чему учился я, что узналъ, что видѣлъ я въ моей жизни, проходило мимо безмолвными картинами; все свершалось какъ на яву

слитно и между тѣмъ отдѣльно, обновляя кругомъ себя землю, воздухъ, зданія и окрестности мѣсть, гдѣ они обывались когда-то. Міръ путешественниковъ, историковъ, поэтовъ, передъ взорами души зеленѣлъ, расцвѣталъ воображеніемъ, трепеталъ жизнію, кишѣлъ страстями, у меня занятыми. Я былъ ровесникъ всѣхъ вѣковъ, жилецъ всѣхъ климатовъ, согражданинъ всѣхъ народовъ. Этаго мало, — проникнутый духомъ геологіи, я проницалъ въ бездну хаоса, въ таинственную эпоху міроздданія; я, казалось, бушевалъ съ океаномъ, съ которымъ боролась юная земля, чтобы вырваться изъ его влажныхъ объятій и вздохнуть свободно. Я видѣлъ какъ многоразличные растворы осѣдали слоями на ядро земнаго шара; видѣлъ какъ хребты горъ въ одинъ мигъ возникали подъ небеса, взорванныя волканами, и пылающая лава, ими изрыгнутая, застывала, погребая въ себя вѣковыя лѣса, завоевывая сушу у моря!... Какъ цѣлыя моря, унесенныя въ облака, послѣ многихъ вѣковъ, пробивались сквозь заклепы и рушили, увлекали стремотоками цѣлые утесы на невѣроятныя пространства! . . .

И такъ я долженъ умереть, — умереть неизбѣжно, безславно, . . . въ цвѣтѣ лѣтъ, въ расцвѣтѣ надеждъ моихъ! Ужасно! — И эта

рука, для которой тяжкая сабля была легка какъ перо, которою становилъ я на колѣна буйвола,—черезъ день не въ силахъ будетъ сбросить могильнаго червяка; — и эта полная грудь, на которой могла бы покоиться голова любимой женщины, лелѣясь нѣгою въ сладкихъ мечтаніяхъ,—эта грудь будетъ придавлена гробовою доскою, и сердце мое, — о мое сердце! не уже ли и оно распадется прахомъ. Не уже ли пламень, его оживлявшій, погаснетъ въ тлѣніи; не уже ли черви земли поглотятъ его небесныя чувства? . . . Не ужели гробовой гвоздь можетъ прибить къ гробу духъ мой, а всесильная могила заклепать на вѣки мои мысли? Уже ли голова моя, это поле-океанъ, на которомъ носились онѣ, станетъ ихъ гробомъ, и свѣтъ не услышитъ высокихъ пѣсень звучавшихъ только для моего слуха, и люди не наслѣдуютъ торжественныхъ глаголовъ, которые такъ долго хранилъ я въ себѣ, и лелѣялъ и растилъ невысказанные?... Безумецъ я! преступникъ я! для того ль былъ данъ мнѣ талантъ, чтобъ я зарылъ его въ землю, въ грудь мою? Я ужъ земля! И я-то за земныя побрякушки отдалъ звѣзды небесъ, продалъ первородство за чечевицу, на скудельное твореніе промѣнялъ даръ неба! . . . . . О тлѣй, гибни, тѣло мое, распылянсь грязью мое

сердце, гибни, зародышъ моей славы, сотрись, на пескѣ начертанное имя мое . . . но оживите вы, мои созданія, вы, младенцы моей фантазіи ! . . . О . . . дайте мнѣ пожить еще годъ, хоть полгода, чтобы я могъ перевести себя на языкъ, понятный людямъ, вылить душу звучною рѣчью Русскою ! Тогда, пускай съ послѣднею буквою умру я, но я умру счастливъ, я исполню тогда свое призваніе, кончу урокъ, заданный мнѣ провидѣніемъ ; я сладко опочію сномъ могилы, я успокоюсь, — и вѣчность будетъ для меня субботою ! . . .

Полгода . . . дерзкій ! Полнѣка бы не стало на высказъ того, что крутится вихрями въ моемъ воображеніи, на перепись буквами думъ, насыпанныхъ въ сокровищницу ума, на разработку рудниковъ, таящихся въ лонѣ души ! И сколько лѣтъ, обреченныхъ высокой работѣ укралъ я у самаго себя, бросилъ въ бисерный прахъ свѣта, и владѣя цѣлымъ, пышнымъ, новымъ міромъ въ груди, гонялся за мыльными пузырями этого міра ! . . . . . Нося въ себѣ святыню, падалъ передъ глиняными истуканами ; я говорилъ : успѣю завтра, — и вотъ пришло это завтра, и это завтра — ничтожество по обѣ стороны гроба.

Позднее раскаяніе ! Напрасныя слезы ! — Онѣ льются, и не истощаютъ горечи, они не живая вода !

Кличу, зову — никто не слышитъ, никто не внемлетъ; у стѣнъ нѣтъ ушей, у могилы нѣтъ устъ! Никто, ничто не угадаетъ мыслей моихъ, не повторитъ ихъ! На землѣ нѣтъ эха моей души, нѣтъ слѣда! Я умру, весь умру, я поглощенъ буду смертію, я, который могъ мечту воображенія, грезу своего сна, облечь жизнію .... И жизнь не подаритъ одного мгновенія тому, кто могъ праху сказать: *встань и ходи.*

Гомеръ, Данте, Мильтонъ, Шекспиръ, Байронъ, Гете, яркое созвѣздіе, вѣчнающее человѣчество, великаны, которымъ не вѣритъ снѣтъ! чувственную, что мои думы могилы быть ровесниками напишутъ; но если я скажу это своему товарищу, одному существу, которое любитъ меня, онъ не засмѣется только изъ жалости, ... онъ покачаетъ головою, онъ подумаетъ «болѣзнь переходитъ у него въ бредъ», онъ назоветъ меня бѣднякомъ, меня, надѣленнаго сокровищами, меня, какъ Мидаса, умирающаго съ голоду на горахъ золота! Это мучительно, это невообразимо мучительно!....

Да, огромную, необъятную поэму замышлялъ начертать я: «*Человѣчество*» было бы имя ей, человѣчество во всѣхъ его возрастахъ, во всѣхъ кризисахъ. Я бы сплавилъ въ этой поэмѣ небо съ землею, поднялъ бы изъ праха

вѣка, допытался бы отъ судьбы неразгаданныхъ доселѣ приговоровъ ея; зажегъ бы надъ мертвецомъ минувшаго погасшіе лучи жизни, озарилъ бы молніями будущее, и въ облака, въ океанъ, въ землю полными руками посѣялъ бы сѣмена неиспытанныхъ, незнаемыхъ звуковъ, мыслей, ощущеній, — зерна столь же сладостныя, какъ райская роса, какъ улыбка неба! . . . . Засѣялъ бы полными руками землю звѣздами неба, засѣялъ бы небо мыслями земли, и сплавилъ бы радугою въ одно: небо съ землею; О время, время! дай мнѣ жизни; за каждую пещинку я воздамъ тебѣ неоцѣненною жемчужиною! . . .

Какъ Данте, я бы взоромъ своимъ разбилъ адскія ворота; какъ Мильтонъ, я взлетѣлъ бы къ престолу Всевышняго и проникъ въ заповѣдныя сады рая; какъ Шекспиръ розгадалъ бы и сердце человѣческое и показалъ его на ладони своей, кровавое, трепещущее! . . . Я все что было, что свершилось на дѣлѣ, на письмѣ, въ душѣ и въ волѣ, въ мѣди и въ мраморѣ, въ звукахъ и взорахъ, исторію и басню, романъ, драму, ученость и заблужденіе, вѣру, суевѣріе все, все это стопилъ бы я въ необъятномъ горнилѣ труда, все поглотилъ, всосалъ бы какъ море и послалъ къ небу въ чистыхъ испареніяхъ, или, переработанное,

очищенное, сокрылъ бы въ лонѣ своемъ яр
кими кристаллами ! . . .

Да, моя драма приняла бы на свои ру
Человѣчество, едва повитое Природою на лон
Индіи. Тамъ вещественность заглушила р
зумъ ; тамъ Природа царица, тамъ богиня Суд
ба ; тамъ величаво и сильно все кромѣ ч
ловѣка ; онъ пьетъ молоко изъ сосцевъ зе
ли, какъ дитя, и какъ пылкій юноша пожир
етъ страстными поцѣлуями грудь ея ; он
вѣчно дремлетъ на ней въ утомленіи нѣг
Солнце возводитъ для него несѣянную жа
ву, но мѣшая въ нее ядовитыя растенія : он
высасываетъ облака ароматовъ и зловредныхъ
испареній ; тамъ подъ каждымъ цвѣткомъ ш
питъ змѣя, подъ каждымъ камнемъ копышат
фаланги и скорпіоны и убійственная тѣн
манценилла манитъ своею коварною прохл
дою. Крокодилъ плачетъ младенцемъ въ стр
ахъ рѣки, и тигръ, притаясь въ огромныхъ
бамбуковыхъ тросникахъ, сторожитъ свою д
бычу ! . . .

И въ этотъ міръ чудовищныхъ боговъ
дивныхъ вымысловъ, и въ этотъ то кипу
міръ жизни и смерти бросилъ бы я дѣйст
вателей моей Сакунталы, людей не имѣющ
воли, безъ разсудка, но не безъ воображе
у которыхъ кровь знойнѣе климата, страст
обузданныя.

Кровь льется какъ ливень изъ облаковъ; вооруженные слоны топчутъ людей какъ муравейникъ, и люди радуются, они хохочутъ когда предъ ихъ глазами, за ихъ пиршествомъ тысячи палачей исторгаютъ языки и очи у плѣнниковъ, губятъ ихъ медленными, неслыханными муками; они безжалостнѣе тигровъ, кровожаднѣе людоѣдовъ Америки, которые, по крайней мѣрѣ, терзая собрата, ищутъ утолить голодъ или причуды вкуса; эти набабы изъ страданій человѣка дѣлаютъ себѣ забаву и наслажденіе! И въ этихъ то людяхъ проявляя любовь, любовь земную, но прекрасную, но роскошную, какъ самый климатъ Индіи; любовь, которая палитъ какъ тамошнее солнце, плачетъ крокодиломъ, рыкаетъ какъ левъ, — любовь сладострастную и безжалостную какъ сама природа Индіи! . . .

И вотъ человѣкъ бѣжитъ изъ Индіи, бѣжитъ упояющихъ, убійственныхъ объятій этой прелестницы, бѣжитъ сторукихъ и триглавыхъ боговъ своихъ; но онъ терлетъ на дорогѣ и символы, и преданія о нихъ — но на немъ еще бьются обрывки цѣпей фатализма. Онъ отдыхаетъ въ Персіи; онъ спитъ тамъ на цвѣтахъ, но уже не потому, что не можетъ бодрствовать, а потому, что любитъ спать. Невѣрность будущаго убиваетъ его дѣятельноть, а

богатство даровъ природы лелѣетъ его лѣнь. И, въ самомъ дѣлѣ, для чего же бы, для кого бы трудился онъ, за что бы сражался онъ? Горскіе народы, такъ сказать, осѣверенные, окрѣпшіе свѣжестью горъ, придутъ завтра, и пожнутъ саблей его жатву. Шахъ возьметъ въ свой гаремъ дочь его, пошлетъ на убой его сына; сильный сосѣдъ отниметъ его домъ . . . или землетрясеніе его поглотитъ; попѣетъ чума — унесетъ его самаго въ минуту! Тамъ человѣкъ уже чувствуетъ въ себѣ волю, но не ищетъ проявить ее; боготворитъ ужь не Природу, но все еще силы Природы; отрицаетъ идоловъ и поклоняется огню; онъ ползаетъ передъ сатрапомъ, коварствуетъ, льститъ, отравляетъ, потому что все это легче труда, потому что все это можетъ доставить ему наслажденіе на сей день.

Мудрость и доблесть Кировъ — сказка, изобрѣтенная для пристыженія Грековъ; злодѣйства Белуса, ненасытное сладострастіе Семирамиды, пресыщеніе Сарданапала, безумная отвага Ксеркса — вотъ истина! Вотъ Восточные владыки! вотъ типъ ихъ политики, ихъ правовъ! . . . Какое богатое поле для драмы. . .

. . . . . .

. . . . . .

СВИДАНІЕ.

Карета катилась мимо Волковскаго кладбища. Валимовъ дернулъ за снурокъ. «Стой» закричалъ онъ кучеру. — Что хочешь ты дѣлать? спросила Ольга.

— Выйдемъ на минуту прогуляться. Душа моя рвется разлиться на всю природу, а въ каретѣ такъ душно, такъ тѣсно, будто въ тюрьмѣ; я отвыкъ отъ классическаго колебанья, меня укачиваетъ въ ней какъ новичка на кораблѣ. Погода прелестна. Солнце будто растаяло въ огнѣ въ небѣ . . . пойдемъ подышать воздухомъ вечера .... дай мнѣ поглядѣть на тебя безъ свидѣтелей.

— Для тебя, Левъ, я на все готова, но признаюсь, я не люблю прогулокъ по кладбищу. Посмотри, гробницы, какъ подорожные столбы, на каждомъ шагу, и граница этой дорогѣ могила . . . зачѣмъ пугать рѣзную жизнь образами смерти?

— Пугать, говоришь ты, милая, скажи лучше возбуждать жизнь. Греки любили попировать и умѣли повеселиться. Однако Греки между чашами клали на столъ мертвую голову; «спѣши, наслаждайся, жизнь коротка» говорили они, и гости слѣдовали безмолвно совѣту.

— Бывали ли на этихъ пирахъ женщины, милой мой? . . .

Вадимовъ смутился.

—Право не знаю навѣрно, сказалъ онъ усмѣхнувшись; но что намъ до этого? Если бы ты любила меня, чувство любви окрасило бы для тебя въ розовой цвѣтъ всѣ предметы, проникло бы все своею прелестію, одушевило бы мертвую природу, причаровало бы къ тебѣ живую. Я вѣрю въ это, я увѣренъ въ этомъ по опыту.

Ольга задумчиво устремила на Вадимова свои черныя очи, на которыхъ мерцали двѣ звѣздочки.

О, какое сердце не растаяло, не вспыхнуло бы отъ ихъ лучей, будь оно хоть алмазъ! Невозможно выразить, какая обаятельная сила

заключалась въ нихъ; и свѣтъ этихъ глазъ, то носился какъ искра во мракѣ, то распускался лучезарною денницею любви, то вспыхивалъ яркою, хотя безмолвною, зарницею страсти!.. То была свѣтлая мысль, то была душа самая пылкая, прекрасная душа! . . .

Она тихо сжала руку Вадимова. — И ты могъ сказать, могъ подумать, что я не люблю тебя за то, что я не люблю мертвецовъ!... Не выходецъ ли ты съ того свѣта? примолвила она шутя . . . О, не смотри такъ на меня, какъ ночной всадникъ на Людмиллу! . . . нѣтъ, ты живъ во мнѣ, ты живъ для меня, ты всегда будешь въ моемъ сердцѣ! Еслибъ я могла пережить тебя . . . Любовь бальзамируетъ останки милаго.

— Да, я вѣрю тебѣ, бальзамируетъ не болѣе. Я не терплю мумій! нѣтъ, нѣтъ! Вздохи любви согрѣваютъ, слезы любви спрыскиваютъ, какъ живая вода, милыя кости воспоминаніемъ, и онѣ отрясаютъ гробовую пыль, встаютъ, воскрыгиваютъ полныя жизни, съ розами на щекахъ, со всѣми своими прелестями и причудами! Сама-ль ты любовь, или любовница, очарованье или очаровательница? . . . Дай мнѣ налюбоваться на улыбку этой страсти въ тебѣ, дай мнѣ вкусить ея поцѣлуй . . . Когда такъ живительны, такъ всемогущи улыбка,

вздохи и слезы ея, какъ сладостны должны быть ея поцѣлуи! Если любовь воскрешаетъ на бѣлый свѣтъ мертвыхъ, какъ же не уносить ей въ небо живыхъ.

—Ты безумствуешь, милый, съ нѣжностью возразила Ольга, въ долинѣ ли смерти думать о поцѣлуяхъ,—въ странѣ ли покоя предаваться мятежу страсти? . . .

— Зачѣмъ же нѣтъ, Ольга, зачѣмъ же нѣтъ? мысль о тебѣ и на полѣ битвы, истинной жатвѣ смерти, соединяла меня съ тобою; даже въ тѣ минуты, когда въ глазахъ были хладные памятники разрушенія, а живые разрушители сверкали надо мной саблями, когда ревъ ядеръ и свистъ свинца мѣшался съ громомъ выстрѣловъ, я искалъ твоей улыбки въ смертныхъ судорогахъ! О, да, любовь всемогуща; она можетъ поглотить вдругъ время и пространство, можетъ произрастить цвѣты изъ льющейся крови! . . .

— Ты много видѣлъ крови?

— Видѣлъ ли я? Я самъ много пролилъ ее. Чтожъ ты содрогаешься такъ, милая? Не уже ли ты такъ же малодушна, какъ тѣ судьи, которые почеркомъ пера посылаютъ подъ топоръ, а сами, не блѣднѣя, не могутъ видѣть ланцета? Не ты ли сама ринула меня въ бурный потокъ войны? . . . И я, который не

могъ видѣть сперва зарѣзаннаго при себѣ цыпленка, я закалилъ свое сердце до жестокости, до того, что страданіе и паденіе товарищей въ битвѣ не производило на меня никакого впечатлѣнія, до того, что гибель врага меня утѣшала; я радовался, какъ ребенокъ, когда отъ моей пули падалъ въ прахъ съ коня какой нибудь наѣздникъ. Когда жъ удавалось вонзить свою шашку въ сердце, о! тогда я былъ въ восхищеніи и, вытирая кровавую полосу о гриву коня, думалъ: если бъ моя Ольга видѣла этотъ ударъ, она бы наградила меня поцѣлуемъ!» Награди жъ меня, моя божественная! Рука, обнимающая твой стройный станъ, по твоей волѣ, обагрена въ крови по локоть!

— Ты все говоришь о смерти и о крови, Левъ, къ чему это? ты воротился счастливо сюда . . . ты досталъ славу на полѣ смерти . . . и рука твоя также бѣла, какъ прежде.

Съ минуту длилось безмолвіе... Вадимовъ терялся въ созерцаніи лица своей милой; Ольга играла волосами его.

— Какъ ты загорѣлъ, Левъ, сказала она!

— Это двойной загаръ, Ольга.... отъ пылу души и восточнаго солнца. Ты еще не хочешь досказать своего привѣта; зыбля головой, ты думаешь: Ахъ, Левъ, какъ ты постарѣлъ! — Да, я очень постарѣлъ лицемъ, но я молодъ

сердцемъ, я это знаю . . . Не столько безсонныя ночи на стражѣ, не столько заботы походовъ, усталость, битвы и тяжкая боль ранъ пробороздили мое чело, нѣтъ, ихъ нарѣзала разлука . . . Горскій разбойникъ кинжаломъ нарываетъ пядь земли на гранитномъ черепѣ и свеетъ въ нее зерна, обрызганныя кровью. Также нарыпала разлука чело мое! Да, Ольга, въ этихъ браздахъ всходили чудныя мысли, злобныя мысли, когда я думалъ: если она измѣнитъ мнѣ?» Но ты вѣрна была мнѣ, ты не измѣнила мнѣ, не правда ль, милая? . . .

— Можешь ли сомнѣваться! . . .

—Сомнѣваться! почему же не сомнѣваться въ нашъ вѣкъ, который сомнѣвается во всемъ, даже въ адъ и въ небо! но признаюсь разочароваться, убѣдиться, было бы мнѣ трудно, мучительно, убійственно; я такъ постоянно, такъ пламенно любилъ тебя! нѣтъ, ты не имѣла соперницъ, Ольга! . . . За то и я . . . развѣ одинъ только гробъ потерпѣлъ бы соперникомъ! . . . Подъ этимъ холоднымъ камнемъ скорбе желалъ бы я тебя видѣть, чѣмъ въ объятіяхъ другого.

— Ты меня ужасаешь, Лейлъ, мы первый разъ видимся послѣ такой долгой разлуки, и вмѣсто привѣтливыхъ рѣчей, на языкѣ твоемъ одни страхи!

— Прости, моя милая, безцѣнная, прости, опасенія были такъ долго у меня на умѣ, опасности такъ часто окружали меня, что невольно вырываются мрачныя слова, за то небо нашей любви не покрачится ни какимъ облачкомъ . . .

— За то Петербургское небо померкло, облака стелются ниже и ниже; вотъ накрапываетъ дождикъ . . .

— Что мнѣ до дождя, что мнѣ до всѣхъ стихій, когда я подлѣ тебя . . . отвѣчай же мнѣ, милая . . .

— Это зависитъ отъ судьбы!

— Но кто куетъ судьбу, какъ не мы сами! . . . нашъ умъ, наши страсти, наша воля, вотъ созвѣздіе путеводное, вотъ пластители, планета нашего счастья! . . . Не поклонюсь я этому слѣпому истукану, воздвигнутому на костяхъ человѣческихъ, не устрашусь призрака, котораго изобрѣли злодѣи, чтобы выдавать свои замыслы орудіями рока, и которому вѣрятъ слабодушные для того, что въ нихъ нѣтъ рѣшительности дѣйствовать самимъ. Вѣрить фатализму, значитъ не признавать ни грѣха ни добродѣтели, значитъ сознаваться, что мы бездушныя игрушки какой то невѣдомой намъ силы. Что мы цвѣты на потокѣ жизни, или перекати-поле, носимое по прихоти вѣтровъ! Это не моя вѣра . . .

сердцемъ, я это знаю . . . Не столько безсонныя ночи на стражѣ, не столько заботы походовъ, усталость, битвы и тяжкая боль ранъ пробороздили мое чело, нѣтъ, ихъ нарѣзала разлука . . . Горекій разбойникъ кинжаломъ взрываетъ пядь земли на гранитномъ черепѣ и свѣтъ въ нее зерна, обрызганныя кровью. Также взрывала разлука чело мое! Да, Ольга, въ этихъ браздахъ всходили чудныя мысли, злобныя мысли, когда я думалъ: если она измѣнитъ мнѣ?» Но ты вѣрна была мнѣ, ты не измѣнила мнѣ, не правда ль, милая? . . .

— Можешь ли сомнѣваться! . . .

—Сомнѣваться! почему жъ не сомнѣваться въ нашъ вѣкъ, который сомнѣвается во всемъ, даже въ адѣ и въ небѣ! но признаюсь разочароваться, убѣдиться, было бы мнѣ трудно, мучительно, убійственно; я такъ постоянно, такъ пламенно любилъ тебя! нѣтъ, ты не имѣла соперницъ, Ольга! . . . За то и я . . . развѣ одинъ только гробъ потерпѣлъ бы соперникомъ! . . . Подъ этимъ холоднымъ камнемъ скорѣе желалъ бы я тебя видѣть, чѣмъ въ объятіяхъ другаго.

— Ты меня ужасаешь, Левъ, мы первый разъ видимся послѣ такой долгой разлуки, и вмѣсто привѣтливыхъ рѣчей, на языкѣ твоемъ одни страхи!

— Прости, моя милая, безцѣнная, прости, опасенія были такъ долго у меня на умѣ, опасности такъ часто окружали меня, что невольно вырываются мрачныя слова, за то небо нашей любви не помрачится ни какимъ облачкомъ . . .

— За то Петербургское небо померкло, облака стелются ниже и ниже; вотъ накрапываетъ дождикъ . . .

—Что мнѣ до дождя, что мнѣ до всѣхъ стихій, когда я подлѣ тебя . . . отвѣчай же мнѣ, милая . . .

— Это зависитъ отъ судьбы!

—Но кто куетъ судьбу, какъ не мы сами! . . . нашъ умъ, наши страсти, наша воля, вотъ созвѣздіе путеводное, вотъ властители, планета нашего счастья! . . . Не поклонюсь я этому слѣпому истукану, воздвигнутому на костяхъ человѣческихъ, не устрашусь призрака, котораго изобрѣли злодѣи, чтобы выдавать свои замыслы орудіями рока, и которому вѣрятъ слабодушные для того, что въ нихъ нѣтъ рѣшительности дѣйствовать самимъ. Вѣрить фатализму, значитъ не признавать ни грѣха ни добродѣтели, значитъ сознаваться, что мы бездушныя игрушки какой то невѣдомой намъ силы. Что мы цвѣты на потокѣ жизни, иль перекати-поле, носимое по прихоти вѣтровъ! Это не моя вѣра . . .

— Другъ мой, милліоны людей не вѣрятъ, что земля вертится; но мѣшаетъ ли это ея путешествію въ раздольѣ небесъ? . . . Впрочемъ не дамское дѣло разбирать законы Провидѣнія или завѣты судьбы.

— Или Провидѣніе, или судьба, что нибудь одно, милая; свѣтъ и мракъ не могутъ быть вмѣстѣ.

— Но, со свѣтомъ можетъ быть тѣнь! . . .

Вадимовъ задумался.

— Ты остроумна, милая Ольга, молвилъ онъ; еще однимъ качествомъ въ тебѣ болѣе; однако ты права, сказавъ, что философія не женское дѣло . . . ваше дѣло и ваше бездѣлье любовь, но любовь для мущины не дѣло и не бездѣлье: она цѣль его жизни, душа его жизни. Такъ люблю я самъ! Всегда и вездѣ твой образъ носился предо мною, твое имя шепталъ я, какъ молитву, засыпая; ты одна украшала мои сны и первая мысль о тебѣ согрѣвала мое сердце, уже холодѣвшее подъ рукой смерти. Много, да, очень много вытерпѣлъ я! но когда товарищи роптали, дрожа отъ холода, изнывая отъ голода на походѣ, я думалъ: она хотѣла, чтобъ я былъ воиномъ, и топь, и скалы сглаживались предо мною, и я шелъ впередъ припѣвающи, будто на свиданіе, и каждая звѣздочка на эполетѣ всходила для меня, какъ звѣ-

ада надежды близкаго обладанія тобою, слава для меня была ты, мудрено ли, что я кидался за нею какъ безумный; и вотъ я полковникъ гвардіи, и вотъ меня знаетъ Государь, уважаетъ начальство, обо мнѣ говорятъ, меня ласкаютъ, мнѣ завидуютъ! Но кому на землѣ или въ небѣ позавидую я подлѣ тебя, любимый тобою? . . .

Коварный Финскій небосклонъ вдругъ обложился тучами; крупный дождь прибилъ пыль, возметаемую вѣтромъ. Любовникамъ невольно должно было искать убѣжища; карета ихъ осталась далеко; они вошли въ большой фамильный склепъ, воздвигнутый барскою роскошью, которая и въ лонѣ самой смерти не хочетъ мѣшать своего бренія съ прахомъ простолюдиновъ! . . .

Забываютъ они, что предъ судомъ Бога нѣтъ сана, нѣтъ семейныхъ связей, нѣтъ ни какой опричины, и что, быть можетъ, имъ придется просить каплю воды у бѣдняка, котораго заставляли они лить горькія слезы, котораго сердце раздавили безжалостно, котораго прахъ попирали съ презрѣніемъ! . . .

Входъ этаго гробоваго склепа украшенъ былъ двумя сфинксами, этими истинными символами смерти съ ея неразрѣшимыми загадками! У задней стѣны видна была изъ бѣлаго

мрамора высѣченная женщина на колѣнахъ, плачущая надъ урной; переломленный якорь лежалъ у ногъ ея; нѣсколько простыхъ каменныхъ гробницъ стояли по стѣнамъ . . .

Мракъ густѣлъ подъ сводами, только статуя бѣлѣлась, какъ привидѣніе и, по временамъ, молнія сквозь распахнутыя двери багровила своимъ невѣрнымъ блескомъ черныя камни и на нихъ золотыя буквы вспыхивали, и вдругъ, неуловимые, гасли, будто бы ихъ чертилъ невѣдомый перстъ на стѣнѣ Валтазара. Все наводило какой то священный, невольный, ужасъ. Робкая, какъ ласточка, вспорхнула Ольга во внутренность склепа, но съ крикомъ бросилась она назадъ, и почти упала въ объятія Вадимова . . .

— Что съ тобой, чего ты такъ испугалась, моя Ольга, заботливо спросилъ ее Вадимовъ? ты побѣдѣла, какъ батистъ твоей косынки, ты вся трепещешь . . .

— Спаси, спасите . . . шептала Ольга, указывая на гробницы . . .

— Отбрось пустые страхи, милая, говорилъ Вадимовъ, ободряя, нѣжно прижавъ къ груди испуганную красавицу; здѣсь живыхъ только мы двое . . . .

— Но знаешь ли кто здѣсь мертвецы? . . .

Знаешь ли кто хозяева этого дома смерти? ... Это предки мои! . . .

—Тѣмъ лучше, милая; свой своему поневолѣ другъ; они хотятъ пріютить родную отъ непогоды . . .

—О, не шути, Левъ. Это не дарожь . . . они ждутъ меня.

—Но только [illegible]иная, только на одинъ часъ.

—И какъ я и[illegible]склена? Правда, я была здѣсь о[illegible]хоронили матушку, но тогда м[illegible]наблюденій!...

—Видишь ли[illegible]го случайность.

— Но страш[illegible]ь, Левъ... зловѣщая случайно[illegible]ть скорѣе отсюда! Этотъ гроб[illegible]шить меня; эта могильная темн[illegible]инецъ, гнететъ сердце; . . . изъ подземелья вѣетъ могильнымъ тлѣніемъ и громъ отдается здѣсь глухо, будто голосъ самой смерти.

—Смерть безмолвна, милая, смерть хранитъ свято ввѣренныя ей тайны, съ мертвыми безопасны мы отъ злобы живыхъ.

—Нѣтъ, я не останусь здѣсь... пойдемъ туда, туда на Божій свѣтъ, на чистый, воздухъ, въ область жизни . . .

— Тамъ буря и ливень . . .

— Краше буря, чѣмъ адѣшняя тишина... туда, туда . . .

И Ольга бросилась въ двери! но въ тотъ мигъ, когда она переступила порогъ, оглушающій ударъ грома разразился надъ головою, и въ 20 шагахъ молнія упала на одну надгробную пирамиду; пламенный снопъ осыпалъ окрестность — и вдругъ все потонуло во мракѣ, . . . ночь стала еще чернѣе, ливень пролился съ двойною яростію, будто Перунъ расторгъ чреватыя водою тучи; .. Ольга закрыла ослѣпленныя очи, колѣни измѣнили ей, сердце замерло страхомъ....

— Молнія! вскричала она, упадая въ объятія страстнаго Вадимова.

— Не бойся молніи, душа моя!.. не ужели ты думаешь, что они сверкаютъ въ небѣ и свергаются на землю, чтобъ поражать любовниковъ? . . Любовниковъ! когда ни одинъ еще знаменитый злодѣй не былъ сожженъ ими! Молнія одинаково поражаетъ и главу церкви, и шпицъ темничной башни; она проницаетъ въ могилы, падаетъ въ степи, также какъ въ волны моря, бьетъ въ полезное дерево, въ невинное животное, а грѣшникъ, не блѣднѣя, пируетъ въ своихъ палатахъ подъ громовымъ отводомъ. Не бойся же, милая! Можно ли отклонить гнѣвъ неба желѣзнымъ прутомъ? Повѣрь

нѣ, что это слѣпая игра природы, это лишь разлитъ силъ ея, потерявшихъ равновѣсіе.

Такъ говорилъ Вадимовъ, прижавъ на гробѣ, сжимая въ своихъ объятіяхъ Ольгу.

Тиха и недвижима лежала она въ его объятіяхъ и, и мало по малу, страхъ уступалъ мѣсто чувству болѣе нѣжному: мало по малу окружающее начезало дл[illegible] блескъ молній видно было, как[illegible] кивѣй и живѣй разыгрывался на [illegible]омъ лицѣ . . . сердце ея еще билось [illegible]ою даже трепетала она; но это [illegible] отъ испуга. Только при блескѣ [illegible]нь, вздрагивала она и, скрывая [illegible]ь плащъ Вадимова, произносила:

— Это улыбка бури, [illegible] говорилъ ей Вадимовъ, осыпая ея [illegible] это поцѣлуй двухъ тучь, которыя слет[illegible] двухъ краевъ горизонта, чтобы слиться посредине любовью. Да, жизнь, любовь вездѣ и повсюду; . . . она и въ пылинкахъ, сіяющихся въ кристаллы; она на вѣткѣ дерева и въ дикой берлогѣ; она въ чашечкѣ цвѣтка, равно какъ въ сердцѣ человѣка; она въ стихіяхъ земли и въ мірахъ небесныхъ! Самъ Богъ есть любовь, любовь высшая, чистѣйшая, святая! Любовь сближаетъ насъ съ Божествомъ. Прижавъ тебя къ груди моей, я чувствую въ себѣ разгаръ святаго пла-

мени, чувствую, что земное, какъ растопленный свинецъ, каплетъ, стекаетъ долой съ души, что она легчаетъ, свѣтлѣетъ; къ ней прильнули уже крылья серафима. Съ восторгомъ и страхомъ машу я ими, какъ молодая ласточка, которая рвется съ высоты въ поднебесье. О, почему не улечу я, почему не улетимъ мы оба туда... даже изъ подъ могильнаго снода, почему эта гробовая плита не будетъ намъ первой ступенью на небо?...

— Зачѣмъ улетать въ неизвѣстное, сказала ропотомъ Ольга!.... зачѣмъ... когда и земля такъ прелестна.

— Да, прекрасна наша земля, она драгоцѣнная жемчужина въ ожерельѣ міровъ, но драгоцѣннѣйшая ли она? но совершеннѣйшая ли она? и если есть планета совершеннѣе нашей земли, каково жъ должно быть небо этой планеты, когда въ сновидѣніяхъ, одинъ разсвѣтъ его, или двѣ звѣзды его неба, твоимъ очамъ подобныхъ, погружаютъ, топятъ мое сердце въ океанѣ блаженства! Но ты не слушаешь меня, ты не вѣришь мнѣ; можетъ быть не понимаешь меня даже, а все потому, что ты не любишь, какъ я люблю..... Скажи правду: ты не любишь такъ? ты женщина, ты бабочка, для которой жизнь — дыханье цвѣтовъ, многихъ цвѣтовъ! у которой золотой пухъ на

крыльяхъ мѣшаетъ подняться высоко, которую уноситъ каждый вѣтерокъ, манитъ каждая свѣчька! Отвѣчай же мнѣ, Ольга! уже ли и ты, какъ всѣ твои сестры, . . . уже ли моя безграничная любовь не находитъ полнаго отголоска въ твоемъ сердцѣ? . . О будь хоть откровенна, жизнь моя, выкупи признательностію, умѣй сказать въ очи своему любовнику: да, и я женщина, и я такова же какъ всѣ. Да, ты не можешь разорвать цвѣточныхъ цѣпей, которыми приковалъ свѣтъ къ землѣ твое сердце, когда ни мѣдь, ни булатъ не сдержатъ моего въ полетѣ . . . не терзай меня сомнѣньемъ, отвѣчай мнѣ! . . .

Она отвѣчала страстнымъ поцѣлуемъ! Этотъ поцѣлуй осыпалъ звѣздами щастливца, обдалъ его молніями. Какъ онъ роскошно отозвался много разъ! И кто бы могъ противостать этому обольстительному поцѣлую, не позабывъ всего на свѣтѣ, и Вадимовъ забылъ все на свѣтѣ, забылся тѣмъ сномъ, который, можетъ быть, лишь первый человѣкъ могъ вкушать до паденія; сномъ, въ которомъ чувство, разумъ и воля сливаются въ три буквы «рай»; сномъ, который въ помникъ по себѣ оставляетъ сладкія слезы на щекахъ, сладкое трепетаніе въ усталомъ сердцѣ и какую-то негу часто безъ

мыслей, безъ желаній, пѣгу полнаго, безотчетнаго блаженства!

Ольга, проникнутая счастіемъ, перетопленная, такъ сказать, пламенною любовью Вадимова, тихо покоилась на широкой груди его. Сердце въ ней трепетало, какъ голубица, утомленная полетомъ въ небо; но оно отдыхало будто въ родимомъ гнѣздѣ, и кровь, которая за мигъ еще огнемъ прорывалась въ жилахъ, теперь лилась въ нихъ подобно густому вину Токая! Казалось небесная волшія страсти сплавила обоихъ любовниковъ въ одно недѣлимое... они жили однимъ чувствомъ, дышали однимъ дыханіемъ: *мы* для нихъ было тогда *я*.

Но на долго ли даны человѣку, съ самой страстною душою, эти мгновенія самозабвенности, этого знакомства съ небомъ? Быстро прогораютъ они, какъ янтарь, съ блескомъ и ароматомъ. Незванный гость »*мысль*» точно заточка въ басню, закрадывается въ домъ кролика чувства, и овладѣваетъ имъ насильно! пробужденныя души, какъ два младенца, уснувшіи другъ у друга въ объятіяхъ, распрыгиваются за разными игрушками.

Между тѣмъ буря стихла, небо выяснѣло. луна, будто невѣста подъ дымчатымъ покровомъ, свѣжа, какъ изъ купели, возникала на краю небосклона. Памятники блестѣли каплями до-

жда, будто слезами этой звѣзды мертвецовъ.. онѣ скользили вдоль холодныхъ камней и гармонически падали въ потоки, которые съ грустнымъ журчаніемъ подмывали надгробія и сочились въ могилы на разрушеніе останковъ и памяти людей. Все было тихо кругомъ и вдали, лишь одному сердцу, не уху, слышно было пѣніе духовъ, которые возвратились понидаться съ землею; но у нея уже не было отголоска для шаговъ ихъ, не было тѣни ихъ образу. Казалось, лишь порой, будто какіе то призраки мелькали, переплетаясь съ лучами мѣсяца. Алмазныя блѣдныя росы, не тронутыя вѣтромъ, зыбились, и исчезали изъ пересѣ цѣтовъ надгробныхъ, будто незримая стопа касалась ихъ, будто, воздушныя уста всасывали чистую ихъ влагу. И когда напряженный глазъ, напряженное ухо силились поймать малѣйшее движеніе, тончайшій звукъ, усталому взору казалось, что камни кругообращаются, что они поднимаютъ и падаютъ на грудь земли, которая вздымалась живѣе, но медленно, безмолвно. Лишь уху слышалось непременно гармонія, которая родится въ немъ самомъ и замираетъ въ пространствѣ, между тѣмъ, какъ душа отзывается ей, сыпля искры и звуки, подобно электрической струѣ Эоловой арфы....

— Посмотри, милая, сказалъ Вадимовъ своей

возлюбленной, дремлющей на груди его, оглянись кругомъ, какъ любовь украсила эти печальныя стѣны для насъ.

Ольга подняла очи; она, казалось, не слышала или не слушала словъ его.

— Какъ здѣсь сыро и холодно, молвила она, закутываясь въ плащъ Вадимова.

— Холодно? на груди моей, въ объятіяхъ моихъ тебѣ холодно?... Между тѣмъ какъ въ столѣтніе годы разлуки, за тысячу верстъ отъ тебя, одна мысль о тебѣ согрѣвала меня въ нетающихъ снѣгахъ Кавказа, подъ осеннимъ дождемъ!...

— Милый мой, развѣ я виновата въ этомъ? У васъ мущинъ бронзовое сердце!..

—Да, бронзовое, одно электрическое прикосновеніе можетъ раскалить его... За то ужъ ваше ледяное сердце не таетъ ни отъ какого жара.

— Умолкни, клеветникъ, съ улыбкою сказала Ольга, закрывая своею прелестною ручкою уста Вадимову, который съ жадностію лобзалъ ее.... — Я здѣсь, я съ тобою наединѣ, и ты можешь упрекать меня въ холодности! Однако, примолвила она, спорхнувъ на землю, поцѣловавъ Вадимова мимолетомъ, пора домой.

Мысль разлучиться такъ скоро съ обожаемою вдругъ и вновь запалила Вадимова; онъ

упалъ на колѣна передъ нею, онъ пожиралъ ея станъ лобзаніями.

— Нѣтъ! еще мигъ, безцѣнная! еще мигъ останься со мною! Посмотри, дождевый потокъ, словно обручальное кольцо, обнялъ эту гробницу, мы теперь отдѣлены отъ свѣта, мы здѣсь на островѣ, мы какъ цвѣты жизни на гробахъ, мы вмѣстѣ! зачѣмъ же намъ желать разлуки, иль ты не пресыщена ею, или мало пролилъ я слезъ горести, что ты похищаешь у меня слезы блаженства?

—Левъ, какъ ты причудливъ, мы и безъ того слишкомъ долго оставались наединѣ; что подумаютъ люди мои, что будутъ говорить въ свѣтѣ, если объ этомъ узнаютъ!

—Пусть думаютъ, пусть говорятъ что имъ угодно! Развѣ ты не невѣста моя, развѣ ты не моя Ольга? Развѣ я не заслужилъ твоего сердца, не выстрадалъ твоей руки?...

— Здѣсь не мѣсто говорить объ такихъ вещахъ, сказала Ольга. освобождая руки свои...

— Нѣтъ, здѣсь-то, при святыхъ гробахъ, при тѣняхъ твоихъ предковъ, должна ты дать обѣтъ столь давно желаемый, столь нетерпѣливо ожидаемый, обѣтъ принадлежать мнѣ на жизнь, на всю жизнь, на вѣкъ, на вѣчность..... Ольга, вспомни завѣты свои, вспомни мои жертвы для тебя, осчастливь меня своимъ зну-

комъ, однимъ словомъ, потому что одного твоего слова не достаетъ къ моему счастію!

Ольга молчала.

— О, не терзай меня, не заставляй подозрѣвать то, чего нѣтъ, чего можетъ быть вѣкъ не станется; не заставь меня щитать тебя худшею нежели ты есть. Или....

Вадимовъ остановился, и долго, долго всматривался въ лице Ольги; мысли его какъ брызги растопленнаго металла упали въ снѣгъ сомнѣнія... и вдругъ очи его засверкали; онъ вскочилъ... вырвавшійся изъ груди его стонъ былъ ревъ тигра, у котораго весной похищаютъ тигрицу.

— Но если я обманутъ тобой, Ольга, если любовь твоя была не что иное, какъ тщелавіе, если нѣжность твоя теперь одна отраженная на тебѣ страсть моя, если другой ... прочь, прочь, эта мысль! ... нѣтъ никто другой не будетъ владѣть тобою, покуда я живъ, никто...

ПОВОЛЖСКІЕ РАЗБОЙНИКИ.

(Отрывокъ изъ были.)

посвящено И. А. Полевому.

Да и тебя я, дочка, не оставлю,
Еще для дня два терпѣнія возьми:
Не быть тебѣ въ Москвѣ, не жить тебѣ съ людьми!
Подалѣе отъ этихъ хватокъ,
Въ деревню, къ теткѣ, въ глушь, въ Саратовъ,
Тамъ будешь горе горевать —
За пальцами сидѣть, за святцами зѣвать.

А. Грибоѣдовъ.

Наканунѣ Покрова Богородицы, въ 1821 году, къ Саратовскому помѣщику Андрею Силычу Пузикову съѣхалось многое множество окрестныхъ дворянъ, чтобы проводивъ у него храмовой праздникъ, гурьбой отправиться въ отъѣзжее поле. Обычай ѣздить въ гости со всею семьею и дворнею ведется на святой Руси еще отъ временъ царя Гороха, и слѣдственно,

освященный столь сѣдою давностію, достигъ до насъ во всей силѣ. Удивительно для меня и право стыдно г. г. археологамъ нашимъ, что они по сю пору не отыскали въ какой именно вѣкъ царствовалъ царь Горохъ, котораго имя блеститъ яркою звѣздою въ забывчивой памяти Русскаго народа! Спросите вы нашего мужичка, слыхалъ ли онъ про Рюрика? «Нѣтуть», будетъ отвѣтъ его; спросите нашего солдата, знаетъ ли онъ Святослава? «Не могу знать», отвѣтитъ онъ вытянувшись. Но произнесите только имя Гороха, оба они усмѣхнутся ему до ушей, словно чаркѣ; оно знакомо имъ, оно родное имъ и вѣрно бѣдному царю Гороху икается разъ больше тысячи на день, — такъ часто вспоминаютъ его въ простонародьи? За то гдѣ его подвиги, его столица, его могила? никто не помнитъ, никто не знаетъ. Живъ онъ былъ давнымъ давно, когда опенки воевали съ рыжиками — вотъ только что отвѣчаетъ вамъ преданіе. Добивайтесь послѣ этого славы!!

Барскій дворъ былъ загроможденъ бричками, каретами, колымагами и возками такой чудесной постройки, что любопытный старинарь (антикварій) нашелъ бы тутъ всѣ возможныя колесницы, начиная съ Фарарановой, «иже погрязла въ чермномъ морѣ», до Англійской

тюльбюри включительно. Все, что затѣйливая мода изобрѣтала въ Москвѣ бѣлокаменной и потомъ отправляла въ ссылку по уѣздамъ за безцѣнокъ; все, что могла произвести доморощеная промышленность подъ замысловатымъ руководствомъ господскимъ, было тутъ перемѣшано самымъ забавнымъ образомъ. Подлѣ колымаги, бывшей, вѣроятно, въ свадебномъ поѣздѣ Марины Мнишекъ, возвышалась уединенно виз-а-ви, подобная будкѣ часоваго; шестимѣстная карета, которая стояла, какъ слонъ, протянувъ хоботовидное дышло на чопорныя дрожки — безъ одолженія; и наконецъ множество кибитокъ, разукрашенныхъ сусальной позолотой, съ развѣшанными, на поднятыхъ къ верху оглобляхъ, попонами, походило на флотъ Игоря на колесахъ, готовый отправиться подъ Царь-градъ.

Толпа слугъ, псарей, доѣзжачихъ и кучеровъ, изъ которыхъ иные играли подъ телегами въ носки, другіе рылись въ повозкахъ, третьи зубоскалили съ босоногими служанками въ тиковыхъ или мухояровыхъ платьяхъ съ перехватомъ подъ самыми плечами. Кони, привязанные къ телегамъ, поглядывая назадъ, казалось, жаловались на скудость обѣда. Хотя хозяинъ и приказывалъ дворецкому, чтобы

всего было вдоволь, однакожъ, такъ какъ и дворецкіе любятъ свои щеты, то не смотря на подать, собранную съ каждаго двора цыплятами и поросятами, овсомъ и сѣномъ, четвероногіе гости не-дворяне, не могли засорить желудка пресыщеніемъ. Крайнее звѣно дворской челяди, гончія и борзыя собаки, лежали купами особо и, будто полные аристократіею своихъ господъ, очень гордо поглядывали другъ на друга, не находя новыхъ знакомствъ съ дворняшками, которыя, униженно помахивая хвостами, вились около породистыхъ гостей, разумѣется въ надеждѣ поцечиться какою нибудь косточкою. Нѣсколько босоногихъ мальчишекъ въ одинхъ рубашкахъ, и въ отцевскихъ шапкахъ, надающихъ имъ на плеча, попрыгивая на одной ножкѣ, глядѣли сквозь частоколъ и составляли, такъ сказать, раму картины. Старинный, одноярусный домъ, съ широкимъ крыльцомъ подъ навѣсомъ, съ лавочками и чуланами по сторонамъ, тянулся поперегъ двора выступами и пристройками разныхъ царствованій. Службы по обѣимъ сторонамъ, жилище безчисленной дворни, отличались неопрятностію; стѣны начерчены были мѣловыми чудовищами; въ иномъ мѣстѣ разбитыя стекла заклеены писаной бумагой, въ другомъ заткнуты рубашкою, у

которой рукава развѣвались по вѣтру, и почти всѣ такъ выцвѣли, что на нихъ игралъ мутный отливъ радуги; въ одномъ углу надъ сушильнею возвышалась голубятня, около которой прогуливались стада чистыхъ и плюмажныхъ, мохнатыхъ и Египетскихъ символовъ вѣрности, потому что между уѣзднымъ дворянствомъ искусство гонять голубей непремѣнно входитъ въ составъ воспитанія недорослей; и если не умѣете отличить стрѣлуна отъ турмана, вы пропащій человѣкъ, вы отпѣтой невѣжда.

Подлѣ ворота, на высокомъ шестѣ, развѣвался очень важно флагъ въ знакъ присутствія хозяина; но его гербъ и его цвѣтъ вряду ли бы указалъ кто нибудь; столь искусно съиграла надъ нимъ рука портнаго и непогодъ.

Въ обѣ стороны отъ дома, село съ бѣлыми своими избами, тянулось по берегу Волги. На одномъ краю его возвышалась каменная церковь; на кровлѣ ея, крытой рѣзнымъ гонтомъ, который время взяло на себя замуравить плѣсенью, между пятью довольно большими главами, видѣлись еще нѣсколько маленькихъ. Колокольня, покачнувшись впередъ, стояла такъ далеко отъ церкви, какъ будто бы она выбѣжала поглядѣть, что дѣлается на улицѣ. Однимъ словомъ, ежелибъ посѣтилъ насъ Вальтеръ Скоттъ, онъ нашелъ бы въ матушкѣ

Россіи больше любопытнаго, какъ она была шесть недѣль тому назадъ, чѣмъ въ Шотландіи за 60 лѣтъ передъ этимъ. Переходя постепенно отъ наружнаго ко внутреннему, мнѣ бы грѣшно было, не сказать ни слова, миновать сельскую прихожую. Отворивъ скоробленныя половинки двери, которыя, какъ мужъ и жена, глядѣли въ разныя стороны, упрямясь облобызаться, гость входилъ въ довольно темную комнату, въ которой стоялъ на лѣво шкафъ, очень нескромно зѣвающій, такъ что видны были въ немъ сальныя огарки въ печищенныхъ подсвѣчникахъ, самоваръ и сапожныя колодки. Въ правомъ углу приконана была на цѣпочкѣ лисица, вѣроятно для предохраненія мускусовымъ ея запахомъ отъ моли, людскихъ тулуповъ, торчащихъ изъ широкихъ ящиковъ, помѣщенныхъ кругомъ стѣнъ. На одномъ изъ нихъ сидѣлъ въ домотканой куртки, иланшеваго цвѣта, лакей, сложа ноги калачемъ и разглаживая утюгомъ обшону къ празднику. Двое долговязыхъ слугъ въ длинополыхъ сертукахъ играли въ орлянку, между тѣмъ какъ босоногой мальчикъ въ чекменѣ спалъ надъ полусвязаннымъ шерстянымъ чулкомъ, чернота котораго доказывала, что экономическая и вмѣстѣ нравственная мѣра занятія рукомеслами, не много приносила проку. Разумѣется, что

ленній пріѣзжій долженъ былъ ожидать: пока портной закрѣпитъ швовъ, лакеи расхватаютъ по карманамъ гроши свои, а мальчикъ надѣнетъ сапоги и протретъ глаза, и потомъ будетъ уже имѣть удовольствіе сбросить имъ въ руки шубу.

Андрей Силычъ былъ настоящій Русской помѣщикъ стараго вѣка не столько по лѣтамъ, какъ по образу понятій. А понятія его заключались своимъ уѣздомъ, честолюбіе ограничивалось борзыми, и потому, отслуживъ сержантомъ въ гвардіи, онъ заблагоразсудилъ, что ему довольно и капитанскаго чина, для пуганія зайцевъ. — Вѣдь на поле съѣзжаются, родней не считаются, и въ слѣдствіе благой этой рѣшимости, бракъ по всю руку просьбу въ отставку, и притулясь въ церковные старосты, чтобы его не выбирали въ земскія должности, зажилъ себѣ панномъ надъ полуторатысячами крестьянъ. Онъ былъ добрый, но простой человѣкъ и видѣлъ не далѣе своего носа, за который водила его жена. Каждый день тучное его тулowище прокатывали четверкою въ дрожкахъ по работамъ, о которыхъ онъ, со всѣмъ тѣмъ, не имѣлъ ни малѣйшаго понятія, и каждую порошу садился на лошадь, чтобы отхлопывать звѣрьковъ отъ удалыхъ собакъ своихъ. Въ остальное время зимы онъ, вмѣсто музыки, слушая ворчанье дражайшей своей

половины, пускалъ табачный дымъ колечками, или игралъ въ шашки съ ловчимъ на воду, заставляя бѣднягу тянуть эту невинную влагу стаканами не только за каждымъ проигрышемъ, но за каждымъ фукомъ, и зѣвая поутру отъ того, что недавно проснулся, а ввечеру отъ того что пора спать. Радъ, радъ бывалъ онъ, словно красному яичку, если завертывалъ къ нему сосѣдъ роспить лишнюю бутылку вина или наливки, и поспорить о травлѣ. Но теперь Андрею Силычу раздолье, потому что весна есть время любви для всей природы, а осень пора истребленья, и рожки охотниковъ и лай собакъ возвѣщаютъ войну всѣмъ животнымъ, недостоинымъ имени домашнихъ. Сѣти, силки, стрѣлки и зубы вездѣ сторожатъ несчастныхъ гостей водъ и лѣсовъ. Дворяне составляютъ наступательные союзы и, соединивъ свои войска, отправляются въ походъ въ отъѣзжее поле — походъ правду сказать, гораздо опаснѣйшій для крестьянскихъ красавицъ, для изгородъ и лѣсовъ, чѣмъ для самаго пушистаго племени.

Такой-то сеймъ былъ цѣлію съѣзда у Г. Пузикова. Засѣданіе было открыто, безъ дальнѣйшихъ обрядовъ, вкругъ стола, на которомъ сверкалъ серебряный тазъ и въ немъ пылала сахарная голова въ волнахъ зажженаго рома.

Такъ какъ имѣніе Андрея Силыча лежало на самой границѣ Симбирской губерніи, то въ числѣ гостей было человѣкъ пять сосѣдовъ Симбиряковъ, и общество очень важно разсуждало, въ которую сторону направить побѣгъ свой, гдѣ назначить привалы, дневки, къ кому заѣхать въ гости и тому подобное. — Споръ ихъ былъ прерванъ приходомъ племянника Андрея Силыча, молодаго Московскаго барича, въ чудесномъ сюртукѣ и съ нафабренными усами. Онъ былъ забрызганъ грязью какъ фельдъ-егерь.

Вопросы полетѣли къ нему на встрѣчу дюжинами.

— Ну что, Павелъ Агеичъ, каково съѣздилъ?

— Какой отвѣтъ? все ли ты уладилъ? что поетъ сосѣдъ нашъ?

— Что онъ поетъ? возразилъ Павелъ Агеичъ, швырнувъ съ сердцемъ сбористую фуражку свою въ уголъ. Господа, дайте перевести духъ и освѣжиться жжонкою!

Онъ почерпнулъ изъ миски пылающую влагу, налилъ ее въ стаканъ и, не погашая, выпилъ.

— Полно, полно, Павелъ, вскричалъ дядя, хватая его за руку. Браво, да ты братъ глотаешь пламя не хуже фокусника, что я видѣлъ въ Нижнемъ объ ярманкѣ.

— Надо вдоволь набраться жару, дядюшка, чтобъ метать полымя, отвѣчая на вопросъ вашъ. Какъ вы думаете, что отвѣчалъ этотъ гвардейскій прыщикъ на просьбу позволить вамъ поохотиться въ его островахъ?

— Разумѣется, что каждый дворянинъ долженъ отвѣчать на такую учтивость: «милости просимъ»!

— Пусть же провалится мой домъ на Пречистенкѣ, если въ его отвѣтѣ было хоть слово на это похожее. Онъ наколесилъ сначала мнѣ тысячу извиненій, а кончилъ тѣмъ, что отказалъ на отрѣзъ!

— Отказалъ? на отрѣзъ отказалъ? этаго быть не можетъ, мой милой! Полно хорошо ли вы вслушались? сказалъ земскій засѣдатель.

— У меня кажется не иголныя уши, г. Цапалкинъ, и я увѣренъ, что не проронилъ ни одного зва.

— Я не то подразумѣвалъ, почтеннѣйшій, возразилъ засѣдатель; эти господа столичные выходцы говорятъ, подъ часъ, такимъ языкомъ, что ужъ мы ли не наторѣли крючки расплетать, да и то въ тупикъ станемъ; кажись молвить и по Русски, да на такой заморской ладъ, что ахнешь, да и руки врозь.

— Не уже ли, сударь, вы думаете, отвѣчалъ съ презрѣніемъ Павелъ Агѣичъ, что меня удивила бы Питерская болтовня! и мы ужѣмъ ска-

зать «жеруюжъ» не хуже другаго, и у насъ у кандитера такое же холодное мороженое, какъ въ Петербургѣ.

— Боже, вскричали многіе голоса, — да разскажите пожалуйста, чѣмъ же онъ отговаривается?

— Смѣхъ сказать, господа, онъ говоритъ, что не хочетъ для пустой [illegible]ть крестьянской озими, травить [illegible]ами и палить лѣсъ отъ почлеговъ. [illegible]забавы! охоту онъ называетъ пу[illegible]о?

— Ахъ онъ Продт[illegible] Фармазонъ, вскричалъ Андрей С[illegible]ковъ! Вотъ какую премудрость вы[illegible]нимъ Англійскимъ плугомъ, слов[illegible]

— Какому быть уму [illegible] прикололъ утвердительно пожѣщи[illegible]коли у него нѣтъ пару въ полѣ! Вотъ до чего доводятъ эти многопольные, травосѣянные замыслы!!....

— Вольнодумцы, батюшка, Артамонъ Гурьичъ! прикололъ вице-губернаторъ Водолѣевъ. Знаете ли, что этотъ молокососъ сказалъ мнѣ за обѣдомъ у дворянскаго предводителя? что будто на винной откупъ раки челобитную подали! Вмѣсто ихъ надо бы его посадить на мель, какъ рака!

— И дѣльно бы проучить этого невѣжу, Анисъ Иодастовичъ, возразилъ уѣздный стряпчій; въ

судѣ безъ приглашенія садится онъ, по праву дискать гвардейскаго мундира и рапъ своихъ! Велика важность раны: у меня два ребра переломаны, а кряхтишь и стоишь часовъ по 5 въ передней у губернатора! И вправь надобно проучить этого ученаго гордеца! Не позволить охотиться въ своихъ дачахъ, да этакъ наше все полеванье хоть брось! у него что ни лѣвристые острова. Я на своей шкурѣ берусь втравить въ дѣльцо, что онъ и своимъ спекольнымъ сахаромъ не подсластитъ, вскричалъ стряпчій.

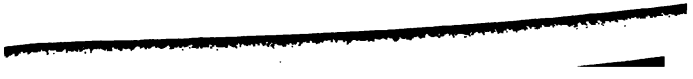
— И всеконечно намъ всего ближе; лѣсныя ваши дачи сходятся; какъ разъ настрочите: «по нахожденіи въ пущахъ моихъ топора, приличившагося быть крестьянъ г-на К., коимъ, по неоднократному объявленію, подтверждено было, сообразно съ постановленіемъ о рубкѣ краснаго лѣса, и мачтовыхъ деревьевъ тожъ, дабы» а тамъ пошелъ да и пошелъ.

— Полтинный орликъ не велика птичка, а золотыя яица несетъ, да приказныя.

Хозяинъ: ха ха ха!.....

Слѣдствіе вечера на Кавказскихъ водахъ.

(Отрывокъ.)



Можетъ быть, господа, вы не забыли занимательнаго молодаго человѣка, который, своимъ чудными возвратомъ въ залу гостинницы, былъ причиною разсказовъ, мною описанныхъ. Если же забыли, то ваше дѣло вспомнить, что онъ былъ племянникъ полковника, который пригласивъ меня остановиться у себя, исчезъ вмѣстѣ съ нимъ изъ общества. Теперь я предлагаю отрывокъ изъ его журнала; — какъ онъ попалъ въ мои руки, будетъ объяснено въ своемъ мѣстѣ.

«Перечень моего пашутника».

Между множествомъ особъ, которыхъ привлекло на воды желаніе здоровья, или разсѣя-

нія, замѣчательнѣе всѣхъ былъ одинъ Вестфальскій дворянинъ, прозваніемъ Коралли. Сходство вкусовъ, не глядя на различіе возрастовъ, сблизило насъ, и немудрено: въ пестрой толпѣ сборнаго общества, которое слетѣлось на воды, какъ гуси и куликн разныхъ странъ на одно болото, почти онъ одинъ могъ понимать мои мысли, цѣнить, если не раздѣлять, мои чувства. По опытности своей онъ былъ уже нѣкъ обольщеній свѣта. Онъ скучалъ ими. Но молодости я еще не зналъ ихъ. Стало быть мы оба были свободны отъ причудливыхъ требованій нашего круга. Всѣ другіе утромъ заняты были сплетнями, вечеромъ пѣнательными нарушками и посѣщеніями, которыхъ ждали словно доктора, и рады были какъ лихорадкѣ.

Кони и собаки, свадьбы и похороны, связи и производства, о которыхъ безпрестанно говорили, конечно весьма почтенныя вещи, но онѣ не могли занимать меня послѣ Саллюста и Гете, послѣ Альфіери и Байрона, а всего болѣе въ виду стогланаго Кавказа. Здоровье мое было слабо, но душа жрѣла отъ изученія умовъ высокихъ, на лонѣ грозно величавой природы. Какъ часто въ уединенныхъ прогулкахъ нашихъ, по берегамъ Подкумка, по цѣлымъ часамъ читали мы, то того, то другаго

автора. Свѣденія его въ языкахъ были неисчерпаемы; чувство красоты пылко и вѣрно, слухъ его не проронялъ ни одного сладостнаго звука; умъ схватывалъ смыслъ, незамѣтный для другихъ, въ малѣйшей бездѣлицѣ. Порой онъ цѣнилъ, объяснялъ, плодилъ мысль автора, но, порой, когда бывалъ тронутъ глубоко, тихія слезы катились по лицу его, книга скользила изъ рукъ и мы долго, долго безмолствовали, проникнуты какимъ то неизъяснимо полнымъ ощущеніемъ высокаго, пламеннаго.

— Что сталось бы со мной, говорилъ онъ, безъ чтенія? Книги — друзья безкорыстные, друзья неизмѣнные, вы одни утѣшали, укрѣпляли меня на терновомъ пути моей жизни. Одна смѣлая мысль, часто одинъ звучный стихъ, одно щастливое выраженіе занимало, радовало меня цѣлый день. Чужія бѣды давали мнѣ бодрость сносить собственныя. Славные примѣры возбуждали душу быть имъ подобнымъ. Радуясь, плача, негодуя съ лицами, можетъ быть, никогда не существовавшими, я забывалъ существенное горе. Дивлюсь, право, что на свѣтѣ такое множество людей, которымъ чтеніе работа Египетская, которымъ лучшій сосѣдникъ бутылка и пріятнѣйшее развлеченіе карты.

Уже ли человѣкъ не можетъ избѣгнуть отъ времени, не сталъ безсмысленнымъ животнымъ, или настоящимъ ребенкомъ, играя въ бирюльки, въ бумажные лоскутки и въ копѣечки? Какъ жаль, что они не чувствуютъ выгодъ книги: это вѣрный другъ, это маякъ въ сомнѣніи, это якорь въ бурѣ страстей! Сколько разъ пылая гнѣвомъ, хватался я за книгу, и слей лился на бушующія волны души моей! Сколько разъ, готовясь на дурное дѣло, садился я читать, чтобы скоротать ожиданіе, и часъ пророка билъ, миновалъ неслышимъ, и я вставалъ изъ за книги не съ мутнымъ наслажденіемъ удовлетвореннаго желанія, но съ чистою радостію собственной силы для побѣды надъ собою!

Онъ очень здраво судилъ и объ изученіи языковъ, называя ихъ гранью слова, ума, воображенія, подъ которою та же самая вещь представляется въ тысячѣ различныхъ видахъ. Напрасно думаютъ, прибавлялъ онъ, схватить въ переводѣ смыслъ подлинника: это все равно, что отдавать рѣдкую медаль за столько жъ золотниковъ серебра; цѣна та же, но то же ли относительное достоинство металла? Въ каждомъ языкѣ, въ каждомъ авторѣ есть выраженія непереводимыя, и всѣ объѣзды слога не выразятъ ихъ вполнѣ; и не въ одной литературѣ, даже въ философическомъ отношеніи,

изученіе языковъ полезно. Для ума наблюдательнаго вся исторія народа, все развитіе ума, начертано въ его языкѣ, и часто простое слово, которое одинъ человѣкъ употребляетъ въ составленіе рѣчи, какъ наборщикъ единицовую букву, даетъ ему новую идею, внушаетъ счастливое сравненіе, оправдываетъ историческую догадку.

Порядочное произношеніе при этомъ необходимо; иначе какъ будете цѣнить поэзію, не почувствуя стройности рѣчи, звучности выраженій? Тѣ, которые не доучились или не научились этому, ломая безчеловѣчно чужіе стихи и зубря гладкую прозу, обыкновенно винятъ въ томъ языкъ. Дался имъ Италіянской камертонъ благозвучія, и за то уже не смѣй похвалить иного, между тѣмъ, какъ всякій языкъ подъ перомъ искуснаго писателя можетъ стать гармоническимъ и нѣжнымъ. Учиться, говорилъ онъ, чему бы то ни было, особенно языкамъ, надо со страстію; только она можетъ истребить всѣ предразсудки, побѣдить всѣ препятствія, оцѣнить, оплодотворить занятія.

Разсужденія его о людяхъ всѣхъ временъ были новы и глубоки. Онъ много почерпнулъ изъ книгъ, гораздо болѣе изъ опыта. Живши въ самую любопытную эпоху сраженія старыхъ

порядковъ и обветшалыхъ мнѣній съ новыми идеями, съ новыми образами, онъ былъ безстрастнымъ наблюдателемъ крайностей, безпристрастнымъ судьею тѣхъ и другихъ. Много путешествовавъ, онъ зналъ почти всѣхъ значительныхъ людей своего времени, и это дѣлало бесѣду его чрезвычайно занимательною. Искренность юноши раждаетъ дружбу, искренность человѣка пожилаго укрѣпляетъ ее, мы сдружились, мы стали неразлучными. Примѣнившись къ его характеру, я замѣтилъ, что его снѣдалъ не тѣлесный недугъ, но́ какая то грусть душевная. Онъ былъ несбольшимъ за 40, а уже ранняя сѣдина посеребрила его волосы, глубокія морщины проглядывали на челѣ. Всякій разъ, какъ рѣчь заводилъ я о счастьи семейномъ, о любви супружней, глаза его наполнялись слезами . . . онъ отворачивался и умолкалъ. Я не дерзалъ нескромными вопросами растравлять ранъ сердечныхъ. по участіе бывало написано на лицѣ моемъ и вѣрно оно вызвало довѣріе.

— Юный другъ мой, сказалъ онъ однажды, я объясню тебѣ причину моей тоски, послушай: я сынъ магната; младость моя протекла въ роскоши и разсѣянности; я объѣхалъ всю Европу, бросая деньги и время на вѣтеръ; черпалъ наслажденія горстями, но душа моя, какъ бочка Данаидъ,

была ненаполнима. Удачи не утоляли, но воспаляли жажду исканій; неудачи не исправляли меня; я хотѣлъ все знать, все испытать, все изѣдать. Какъ съ изношеннаго праздничнаго платья, одна по одной въ тѣснотѣ опадаютъ блестки, такъ облетали они съ моего идеала. Искренностію моею [illegible] телей, золото свое промѣнялъ на [illegible] овь. Двадцать разъ расточительно [illegible] чивость моя вводила меня въ кр [illegible] ѣды, въ искушенія. Чудные слу [illegible] ненія; я выходилъ или убѣгалъ [illegible] Природа побѣждала не только [illegible] ии, но и самыя лекарства. И [illegible] сплачивался я съ заимодавцами, [illegible] алъ прежнюю пѣсню, но изъ этог [illegible] одну выгоду: это познаніе людей [illegible] ь одной крайности бросился я въ другую. Сперва считалъ людей лучше, нежели они могли быть, потомъ сталъ думать о нихъ хуже, чѣмъ они есть. Я былъ ихъ игрушкою, а потомъ самъ началъ играть ими. Обманутый тысячу разъ въ самыхъ благороднѣйшихъ чувствахъ, преданъ въ самыхъ полезныхъ намѣреніяхъ, я сказалъ самъ себѣ: станемъ же отдѣлываться словами и обѣщаніями, это дешевле и безопаснѣе. Я несъ на встрѣчу красотѣ сердце, готовое любить безкорыстно, пламенно, готовое жертвовать

всѣхъ, всѣмъ на свѣтѣ любви, и что же было мнѣ отвѣтомъ? Тщеславіе, прихоти, измѣны! Боготворимъ женщинъ, я сталъ презирать ихъ, я обратилъ въ жертву моихъ идоловъ. Такъ провелъ я три года въ свѣтѣ, которымъ скучалъ, съ людьми, которымъ не вѣрилъ, съ женщинами, которыхъ не уважалъ. Одно чтеніе, одна жажда познаній сдерживали меня на столбовомъ пути свѣтской безнравственности, но разсудокъ спалъ, страсти еще кипѣли, и привычка брала свое. Я тѣмъ злѣе чувствовалъ пустоту сердца, что могъ цѣнить ничтожность своей жизни, что не имѣлъ передъ самимъ собою извиненія, будто дѣлаю худо по незнанію, по неопытности. Въ это время я возвратился въ Петербургъ оплакивать смерть отца, котораго не утѣшалъ при жизни. Имѣнье мое было велико, но разстроено, мои долги необъятны . . . не имѣя терпѣнія поправить доходы бережливостію, ни умѣнья умножить ихъ порядкомъ, я, какъ вся молодежь въ цѣломъ свѣтѣ, кинулся въ разсточительность, очерти голову. Доломанъ мой блисталъ алмазными пуговицами, конь былъ обитъ золотомъ, жемчужныя кисти висѣли на моихъ гайдукахъ. На всѣхъ балахъ, на всѣхъ гуляньяхъ гремѣло имя Коралли, и тамъ, гдѣ бренчали шпоры мои, раступались рубаки, и за ними любезники усту-

была пенаполняла. Удачи не утоляли, но воспаляли жажду исканій; неудачи не поправляли меня; я хотѣлъ все знать, все испытать, все извѣдать. Какъ съ изношеннаго праздничнаго платья, одна по одной въ тѣснотѣ опадаютъ блестки, такъ облетали они съ моего идеала. Искренностію моею нажилъ непріятелей, золото свое промѣнялъ на мишурную любовь. Двадцать разъ расточительность и запальчивость моя вводила меня въ крайности, въ бѣды, въ искушенія. Чудные случаи спасали меня; я выходилъ или убѣгалъ изъ темницъ. Природа побѣждала не только раны и болѣзни, но и самыя лекарства. Полунагой расплачивался я съ заимодавцами, и снова занѣвалъ прежнюю пѣсню, но изъ этого извлекъ я одну выгоду: это познаніе людей и свѣта.—Изъ одной крайности бросился я въ другую. Сперва считалъ людей лучше, нежели они могли быть, потомъ сталъ думать о нихъ хуже, чѣмъ они есть. Я былъ ихъ игрушкою, а потомъ самъ началъ играть ими. Обманутый тысячу разъ въ самыхъ благороднѣйшихъ чувствахъ, преданъ въ самыхъ полезныхъ намѣреніяхъ, я сказалъ самъ себѣ: станемъ же отдѣлываться словами и обѣщаніями, это дешевле и безопаснѣе. Я несъ на встрѣчу красотѣ сердце, готовое любить безкорыстно, пламенно, готовое жертвовать

всѣхъ, всѣмъ на свѣтѣ любви, и что же было мнѣ отвѣтомъ? Тщеславіе, прихоти, измѣны! Боготворимъ женщинъ, я сталъ презирать ихъ, я обратилъ въ жертву моихъ идоловъ. Такъ провелъ я три года въ свѣтѣ, которымъ скучалъ, съ людьми, которымъ не вѣрилъ, съ женщинами, которыхъ не уважалъ. Одно чтеніе, одна жажда познаній сдерживали меня на столбовомъ пути свѣтской безнравственности, но разсудокъ спалъ, страсти еще кипѣли, и привычка брала свое. Я тѣмъ злѣе чувствовалъ пустоту сердца, что могъ цѣнить ничтожность своей жизни, что не имѣлъ передъ самимъ собою извиненія, будто дѣлаю худо по незнанію, по неопытности. Въ это время я возвратился въ Пресбургъ оплакивать смерть отца, котораго не утѣшалъ при жизни. Имѣнье мое было велико, но разстроено, мои доли необъятны . . . не имѣя терпѣнія поправить доходы бережливостію, ни умѣнья умножить ихъ порядкомъ, я, какъ вся молодежь въ цѣломъ свѣтѣ, кинулся въ разсточительность, очерти голову. Доломанъ мой блисталъ алмазными пуговицами, конь былъ облитъ золотомъ, жемчужныя кисти висѣли на моихъ гайдукахъ. На всѣхъ балахъ, на всѣхъ гуляньяхъ гремѣло имя Коралли, и тамъ, гдѣ бренчали шпоры мои, разступались рубаки, и за ними любезники усту-

нали мнѣ мѣсто. Не могши успокоить души, я хотѣлъ закружить ее, обуять себя вихремъ разсѣянности, и въ усталости вкусить усыпленіе нравственное.

Однажды я верхомъ выѣхалъ посмотрѣть на ученіе гренадерскаго полка Гогенлое.

Между зрителями было множество дамъ въ экипажахъ . . . Всѣ [illegible] стройными движеніями пѣхоты, [illegible] о молодыхъ Венгерцовъ, по обыч[illegible]ъ разноцвѣтныхъ, расшитыхъ дол[illegible]ентикахъ, въ собольихъ шапкахъ, [illegible] между каретами, любезничая съ к[illegible]я напротивъ, неся за собой повсю[illegible]о проѣзжалъ вдоль рядовъ, поту[illegible]И исторженъ былъ изъ моей задум[illegible]альнымъ огнемъ, открытымъ пѣхот[illegible]то же время сзади меня раздался вопль и крики: «Спасите, удержите!» Испуганныя пальбою лошади одной коляски, закусивъ удила, начали бить, стоптали кучера, понесли ее вкругъ плаца, ломая и топча все встрѣчное . . . Нѣсколько человѣкъ кинулись вслѣдъ за колясками, въ которой сидѣли двѣ женщины; но опасаясь сломить голову или, не умѣя взяться за дѣло, безполезно толкались, — когда я, вонзивъ шпоры въ бокъ своему Арабу, какъ вихорь понесся на перерѣзъ бѣшеной четверкѣ: уже одно коле-

со было разбито въ дребезги, кузовъ трещалъ, сокрушаясь, и кони разметавъ по вѣтру гривы, несли прямо къ крутому берегу Дуная, когда я со всего наскоку врѣзался въ середину ихъ. Конь мой хотѣлъ перепрянуть, но пробитый въ грудь дышломъ, грянулся о землю; — онъ стоптанъ копытами, раздавленъ передкомъ; но ударъ былъ такъ силенъ, что одна изъ коренныхъ пала и вся четверка, запутавшись въ уносахъ, оборвавъ ремни, фыркая и топчась на мѣстѣ, стала будто громъ упалъ у ней передь ногами. Я былъ выброшенъ изъ сѣдла съ первой встрѣчи, но такъ счастливо, что сей же часъ вскочилъ на ноги. Кидаюсь къ колясскѣ, и въ то же мгновеніе одна изъ дамъ, блѣдная какъ снѣгъ, съ крикомъ падаетъ ко мнѣ на руки.

Безчувственную, я принесъ ее въ ближайшій домъ, руки ея замерли, обвившись около моей шеи, и почти цѣлый часъ не могли развести ихъ, не могли возвратить ей памяти, и мнѣ должно было все это время держать ее въ объятіяхъ. Правду сказать, эта обязанность была мнѣ вовсе не тяжела. Незнакомка была прелестна, какъ ангелъ; чѣмъ болѣе глядѣлъ я на нее, тѣмъ сильнѣе билось сердце. Свѣтлорусые локоны, отброшенные назадъ въ безпорядкѣ, сыпались съ высокаго чела ея на алеба-

строную шею, на грудь недвижимую дыханіемъ . . . Съ невъяснимымъ чувствомъ, тяжкимъ, подобно тоскѣ, сладостнымъ какъ восторгъ, ждалъ я ея пробужденія; изъ этихъ блѣдныхъ устъ, казалось, долженъ былъ вырваться приговоръ моей судьбы; изъ подъ этихъ рѣсницъ, взоръ, [illegible]лъ меня на муку или погруз[illegible]о . . . Наконецъ я послы[illegible] моей тихое біеніе сердца краса[illegible] скользнули съ плечъ моихъ, он[illegible]а! . . .

Не умѣю высказ[illegible]ный пламень облилъ меня, ко[illegible]встрѣтились, и въ слѣдъ за эт[illegible] какъ будто она оживила моею [illegible]а мое существованіе. Я ничего [illegible]ъ, я видѣлъ только ее. Она съ изумлен[illegible] смотрѣла на меня, осматриваясь кругомъ, припоминая что съ нею сталось, и вдругъ она вскрикнула съ крикомъ: «Матушка, матушка!» и упала въ объятія къ матери, которая и сама едва лишь тогда приходила въ себя, послѣ долгаго обморока.

Въ это время вошелъ въ комнату высокій мущина пожилыхъ лѣтъ, но разодѣтый щеголемъ; онъ развязно поклонился хозяевамъ и съ усмѣшкою подошелъ къ незнакомкамъ; поцѣловалъ руку у старшей, поцѣловалъ въ голову молодую.

Вы претерпѣли кораблекрушеніе, сказалъ онъ по французски; очень радъ, что оно кончилось однимъ страхомъ; меня встрѣтила на дорогѣ тысяча вѣстей о вашемъ приключеніи, и я насилу отыскалъ куда вы скрылись. Судя по описанію, я вамъ должно быть обязанъ избавленіемъ жены и дочери, прикомлилъ онъ, обратись ко мнѣ. Примите, милостивый государь, благодареніе и удостойте знакомства; я Русскій дворянинъ Георгій Градовъ.

Онъ протянулъ ко мнѣ руку. Я готовъ былъ кинуться на шею отца моей красавицы, но этотъ не вереній тонъ свѣтской учтивости, эта хладнокровная встрѣча, оледѣнили меня. Я отвѣчалъ ему невнятными привѣтствіями; на за то ласковость матери, но за то взоръ дочери сторицею наградили меня за безчувственность отца.

Почтенная дама посадила меня подлѣ себя и со слезами благодарила за свое спасеніе, за спасеніе ея Вѣрочки, и между тѣмъ съ нѣжностію перебирала въ кудряхъ дочери, которая, склонивъ голову на руку, съ нѣжностію ее цѣловала. Я не зналъ, что со мной сталось, я не понималъ самъ себя. Никогда въ самыхъ первинкахъ любви не былъ я такъ робокъ, такъ смущенъ и вмѣстѣ такъ доволенъ, такъ щастливъ. Доселѣ вольный съ женщинами до дерзости, шутливый какъ нельзя бо-

лѣе, и вѣкъ ненавистникъ сладкихъ воздыхателей, я не смѣлъ долго смотрѣть на Вѣру; слова становились у меня въ горлѣ, какъ рыбьи кости, и румянецъ на лицѣ, и вздохи на устахъ пеныхивали при каждомъ къ ней приближеніи. Между тѣмъ отецъ Вѣры, любезничая съ хозяйкою, шутилъ, смѣялся, какъ будто все это происшествіе, въ которомъ жизнь его дочери висѣла на волоскѣ, значитъ не болѣе какъ выигранная карта на «пе», которая могла проиграть застольную ставку. Лице его было весьма правильное, даже пріятное; но что-то насмѣшливое въ устахъ, что-то льдяное въ глазахъ обличало человѣка себялюбиваго, расчетливаго, и отталкивало всякую короткость.

— Я проѣхалъ мимо моей изломанной коляски, сказалъ онъ, играя цѣпочкою часовъ, и видѣлъ вашего пѣгаго коня, онъ былъ прекрасное животное. Какая голова, какія стати! Жаль, очень жаль! . . . Это чистая Арабская кровь!

Я негодовалъ на его хладнокровіе; мы раскланялись съ намѣреніемъ не продолжать этого знакомства. Но учтивость требовала, но сердце звало, но новая страсть, непреодолимо влекла меня въ домъ Градова и я сталъ ѣздить къ нимъ часто.

Я искалъ случаевъ, гдѣ бъ ихъ встрѣтить,

и разумѣется встрѣчалъ назадъ. Мало по малу, въ очахъ милой Вѣры, сталъ отражаться пламень очей моихъ, грудь ея волноваться отъ моихъ вздоховъ. Не знаю что-то чистое, что-то свѣтлое возникло во мнѣ, обновляло, молодило, перерождало меня въ присутствіи этого младенчески-невиннаго существа. Казалось около Вѣры проведенъ былъ огненный кругъ очарованія; и чувствовалъ, что всѣ остатки, всѣ искарки прежнихъ страстей моихъ сплавлялись, очищались, превращались во что-то новое, блистающее, прозрачное, крѣпкое, какъ алмазъ.

Алмазъ! а развѣ онъ не сгараетъ? но на чѣмъ я разсказъ упреждать время, которое любой желалъ бы удалить изъ дѣйствительности и памяти? Я сталъ любить, и сколько чувствъ, сколько восторговъ, сколько страданій заключено было въ этихъ нѣмыхъ звукахъ — цѣлый міръ новыхъ мечтаній, новыхъ происшествій развился передо мною. Казалось, я оставилъ за собою дряхлыя части свѣта, и съ Колумбомъ нашелъ дѣвственную землю. Океанъ протекъ между настоящимъ, и минувшимъ. Все въ ней поражало меня новостью, плѣняло прелестью неизъяснимою. Самый воздухъ, которымъ дышалъ съ нею, былъ сладостнѣе. Быть только, быть съ Вѣрою было уже мнѣ высочайшимъ счастіемъ.

Вообразите, что за блаженство было говорить съ нею, говорить ей о взаимной любви, развивать небо надежд, тонуть въ морѣ наслажденій и забывать въ одномъ поцѣлуѣ настоящее, будущее, самихъ себя и всѣхъ! Любовь есть сильнѣйшій дѣйствователь природы въ пользу усовершенія.

Посмотрите, какъ заботливая влюбленная женщина старается украсить свою память, если не умъ, чтобы понравиться достойному человѣку! какъ жадно ищетъ юноша случаевъ привлечь вниманіе любимой особы какимъ нибудь блистательнымъ дѣйствіемъ, благороднымъ поступкомъ, и не рѣдко бросается въ нелѣпыя глупости, выказывая смѣлость или преданность! . . . Порочный прилепляется на время свою природу и кажется благонравнымъ; каждый старается сбросить или скрыть свои недостатки . . . Можно сказать, любовь похожа на Ринальдово зеркало. Оно обличаетъ наши пятна, и если мы хоть на мигъ краснѣемъ, хоть на мигъ чуждаемся собственныхъ недостатковъ, это уже есть нѣкоторая дань добродѣтели, слѣдственно самая любовь есть добродѣтель, потому что всего сильнѣе и всего скорѣе заставляетъ ее чувствовать, уважать ее, выражать на дѣлѣ.

Но если многихъ, не исключая меня самаго,

любовь заставляетъ казаться, если не быть лучшимъ, моя Вѣра не имѣла въ томъ нужды. Душа ея была чиста и прозрачна какъ гладкая поверхность, по которой не можетъ вползти ни одно насѣкомое. Лучъ любви оживилъ только эту призму своими цвѣтами, и начерталъ около нея радужный кругъ неизъяснимой прелести. Рожденная въ томъ вѣкѣ, когда всеобщее истлѣніе нравовъ коснулось Русскаго дворянства, она подобна была цвѣтамъ, которыя въ первую эпоху роста развиваются, храня свѣжесть свою росою небесною, занимая зелень отъ солнца, и какъ любила она, о какъ она любила!! Бываетъ что и свѣтскія женщины «умѣютъ любить»; но это искуство, а не чувство, это умъ, а не душа; въ ней напротивъ было все природа, и природа чистая, свѣтлая. Какъ противоположна была ея тихая, самозабывающаяся любовь съ моею прихотливою, бурною, полною эгоизма страстію! Она трепетала какъ листокъ отъ моихъ порывовъ, она таяла какъ снѣгъ, сквозь который проникаетъ лава. Но чѣмъ всегда кончалось это борeніе? Я, я неукротимый и невѣрующій, падалъ въ прахъ передъ святою силою умоляющаго взгляда, или слезою укора, этихъ двухъ неодолимыхъ оружій невинности!

Прости, что я на старости лѣтъ такъ болтли-

во вспоминаю объ единственной любви моей! Другія связи съ тѣхъ поръ, я не величалъ и не дразнилъ этимъ именемъ. Сердце мое только въ воспоминаніи о Вѣрѣ оживаетъ снова весною, отъ теплоты ея оно испаряется мечтами, какъ вода туманами.

Мать Вѣры была добрая женщина, по правду сказать, не выше предразсудковъ своего вѣка и званія; за то она искупала ихъ безграничною привязанностію къ дочери, привязанностію, которая впрочемъ упала бы до слѣпаго баловства, если бы дочь ея могла набаловаться. Угождать своей Вѣрушкѣ, предупреждать всѣ ея желанія, рядить ее, учить ее, любоваться и восхищаться каждымъ ея шагомъ, каждымъ словомъ, было ея занятіемъ, отрадой и наградой. Она бы весь вѣкъ готова была продержать дочку у себя на колѣнахъ! Вѣра отвѣчала ей самою покорною, самою нѣжною любовію . . . Отецъ Вѣры былъ олицетворенная противоположность женѣ своей. Онъ былъ одинъ изъ тѣхъ бездушниковъ, которыми 18-й вѣкъ населилъ высшее общество. Болѣе гордый своимъ родствомъ, чѣмъ предками, заносчивый расточитель своего добр^ и рабъ передъ чужимъ богатствомъ, готовый все предать и продать для наслажденій или выгоды, недоступный настоящаго честолюбія, но тщеславный въ

игрушкахъ до ребячества, онъ не задумывался обобрать въ картахъ друга, для того, чтобъ полчаса спустя, бросить копѣйку бѣдняку передъ толпою; — человѣкъ, у котораго ни чего не было завѣтнаго для другихъ, ни чего священнаго для себя; человѣкъ, который боялся болѣе пятна на платьѣ, чѣмъ на совѣсти, но гибкій, уклончивый.

Я открылъ свои намѣренія матери Вѣры; добрая женщина плакала отъ радости, она такъ любила насъ обоихъ! Когда жъ объявилъ о томъ отцу ея . . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

МУЛЛА НУРЪ.

(Заключеніе.)

Оджахъ-данъ чихаръ-дюшманъ *.
Изъ роднаго племени возникаютъ враги.

Пословица.

Меркло. Тучи плескались, какъ волны, по небу — грозили залить ледяной островъ Шахъ дага. Только одно его темя блистало еще снѣгомъ, пылало огнемъ солнца, какъ душа поэта, какъ жерло волкана. Другіе хребты слѣва, справа, отовсюду вздымались великанскими головами одинъ надъ другимъ, одинъ за другимъ все выше, и синѣе, и мрачнѣе, поло-

---

* *Оджагъ*—нашъ очагъ, пепелище, камины (âtre); въ переносномъ смыслѣ: семья, родъ, племя. У насъ есть пара къ этой татарской пословицѣ: не вспоя, не покормя, порога не сыщешь.

бны чудовищными валами, вздутыми Божиим гнѣвом въ страшный день потопа.

Подъ кипучею пѣной облаковъ казалось они идутъ, идутъ врозные, крутятся, падаютъ горами, разступаются безднами; прыщутъ и воютъ! Ливень бичуетъ, хлещетъ, гонитъ пхъ, догоняетъ насъ. Дорога мумнтъ и несется водападомъ . . .проливается небо, земля тонетъ!... Это уже не обманъ зрѣнія! — Скорѣе, скорѣй, чапаръ ханъ, скачемъ въ гору! Еще мигъ и намъ не выбиться изъ этого незапнаго озера!

Слава Богу, долина за нами! Мы ѣдемъ уже по суходолу. Кони храпятъ и дымятся; дайте вздохнуть копямъ! Люблю встрѣтить бурю лицемъ къ лицу; любуюсь ея гнѣвомъ, какъ гнѣвомъ красавицы и радостно крещусь, привѣтствуя первый громъ. Привольно, весело мнѣ, свѣжо на сердцѣ. Съ наслажденіемъ глотаю капли дождя — эти ягоды полей воздушныхъ. Полной грудью вдыхаю вихорь . . . о, въ бурѣ есть что-то родственное человѣку! Дремлетъ чайка въ затишье, но чуть взыграло море, она встрепенется, раскинетъ крылья на высь, съ радостнымъ крикомъ нарѣжетъ вѣтеръ, смѣло поцѣлуется съ бурунами. Таковъ и духъ мой! съ самаго младенчества я любилъ грозы. Громъ для меня всегда былъ милѣе пѣсни, молніи

краше радуги. Бывало когда всѣ бѣжали подъ кровлю, я подъ дождемъ бродилъ по цѣлымъ часамъ, прислушиваясь къ говору и реву тучь, или стоялъ томясь желаніемъ уловить памятью дивный узоръ, которымъ перунъ вышивалъ черной плащъ бури.

Ахъ, посмотрите сюда, взгляните сюда ради Бога! небо прорвалось на западѣ, и раздѣленные лучи его просыпались какъ огненные стрѣлы изъ колчана архангеловъ. А тамъ, а кругомъ еще клубятся синія тучи; распадаются, разматываются прядями линіи, и вѣтеръ то волнуетъ, то разбрызгиваетъ ихъ своимъ крыломъ. Вдругъ все затихло, дождь пересталъ, вѣтеръ палъ ницъ, будто со страха, и не дарожъ... ужасный ударъ перуна разразился надъ головою, упавъ въ 20 шагахъ впереди. Всѣ кони сѣли назадъ, какъ убитые въ лобъ! оглушенный, я схватился рукой за глаза, мнѣ показалось они сожжены молніею!.. открываю ихъ, озираюсь: всѣ цѣлы, только разбитый дубъ курится вблизи какимъ то сѣрнымъ дымомъ, да земля дрожитъ еще, гулитъ еще робкимъ отвѣтомъ на грозный зовъ грома.

Львиной страстью любитъ небо землю нашу: поцѣлуй его всепронзающая молнія; его ласки развѣваютъ въ прахъ утесы; плавятъ металлы какъ воскъ. Но развѣ не такова любовь

всего великаго, всего сильнаго на землѣ? Земная снудель не выдержитъ небеснаго пламени алмазъ таетъ въ лучахъ солнца.

И все равно, вырывается ли она изъ сердца или пріемлется другимъ сердцемъ — погибнутъ оба. Молнія расторгаетъ и облако, въ которомъ родилась, и скалу, на которую пала. Пепелъ и развалины слѣдъ ея.

Но кто дерзкій осмѣлится сказать, что гроза безполезна, что природа разрушаетъ не для того, чтобы творить? Отвѣтствуй за нее разливъ Нила и пожаръ Москвы.

Пусть даже на цѣлый вѣкъ осудитъ природа какой нибудь край на пустыню, или кого нибудь на гибель въ страшный часъ своихъ переворотовъ ... это лишь жертва очистительная, это урокъ смертнымъ. Не безпокойтесь о погибшемъ! У насъ одна жизнь; у Бога день для насъ. У насъ одинъ вѣкъ, у Бога вселенная, у Бога вѣчность въ запасѣ. Думаете ли вы, что напрасно для міра, что случайно открытъ былъ изъ подъ лавы столѣтній трупъ Геркуланума, этотъ городъ-мумія?

Порочны люди, окруженные всѣми угрозами законовъ и стихій; можно судить, чтобы ихъ не было, если бъ океанъ не грозилъ залить ихъ, а землетрясеніе поглотить каждый мигъ; если бъ они ходили не подъ топоромъ

и не по жогилѣ. Какъ ни привычны мы къ напоминаніямъ о смерти голосомъ природы, но я не вѣрю чтобы самый закоренѣлый злодѣй не вздрогнулъ, когда труба страшнаго суда воетъ раскаленною лавою, или когда перстъ необычайной бури пишетъ молніей по ночи зловѣщій приговоръ Вальтазара.

Если бъ грозы и не очищали воздуха, не приносили ни какой вещественной пользы для земли, то уже одно нравственное впечатлѣніе на умы людей ставитъ ихъ въ число величайшихъ явленій природы. Сѣмяна Божьяго страха глубоко западаютъ въ сердца, размягченные перуномъ, и если хоть одно раскаяніе заселенѣетъ на нихъ добрымъ намѣреніемъ, заколосится добрымъ дѣломъ, человѣчество больше выиграло, чѣмъ приношеніемъ цѣлой пины.

Стихаетъ . . . изрѣдка свѣтлыя капли дождя носятся, перепадаютъ по воздуху. Какъ изорванныя знамена послѣ боя вѣютъ тучи. Громъ, будто рокотъ бѣгущихъ съ горъ колесницъ, гудя исчезаетъ въ отдаленіи. Ущелье вторитъ послѣднему хранѣнію умирающаго тамъ вѣтра. Вотъ и пелена новорожденнаго солнца — радуга; вотъ и само солнце дитя бури — но гдѣ же буря? Не говорилъ ли я, что все прекрасное гибельно лону, въ которомъ оно

зачато! Посмотрите! этотъ чинаръ раскололъ корнемъ гору, а она лелѣяла его, когда онъ былъ ничтожнымъ желудемъ, и нѣжнымъ стеблемъ. Рожденіе Цезаря стало смертнымъ приговоромъ его матери.

Чтобы дать жизнь, надобно отдать жизнь.

Мысль убиваетъ блескомъ своимъ; чувство жаромъ, и тѣмъ скорѣй чѣмъ сильнѣе оба.

Но тотъ кто оставилъ послѣ себя хоть одну свѣтлую, новую мысль, хоть одинъ полезный для человѣчества подвигъ, не умеръ безъдѣтенъ. Воспоминаніе тоже потомство.

— Куда ты ведешь меня? закричалъ я проводнику, замѣтивъ, что онъ своротилъ вправо!

— Въ гору! отвѣчалъ тотъ, не вынимая изъ рта своей трубки. Рѣка теперь отъ дождей непроѣзжима! лучше дать агача два крюку по хребту, чѣмъ сидѣть у берега и ожидать покуда стечетъ вода.

— Я не буду сидѣть и не буду ждать, поѣзжай на Тенгинское ущеліе . . . ну!

Татаринъ поглядѣлъ на меня съ головы до ногъ, пожалъ плечами, и проворчавъ *сенынъ ахтіарынъ*, твоя воля, поѣхалъ влѣво.

Скоро, сквозь обнаженный еще лѣсъ, приблизились мы къ берегу, издали встрѣченные

шумомъ спертыхъ каменными воротами водъ. Потомъ влажный холодъ пахнулъ въ лице съ отвѣсныхъ скалъ противулежащаго берега, наконецъ я въѣхалъ въ тѣнь самаго ущелія.

Гляжу вверхъ и роняю шапку, прежде чѣмъ глазъ мой досягаетъ до гребня стѣнъ построенныхъ природою; гляжу подъ ноги, и сердце замираетъ, прежде чѣмъ ступить въ разъяренный потокъ. Страшно тяготѣютъ надо мной эти громады, жмутся, хотятъ упасть, уже выблются, ужъ рушатся!... Страшно кипитъ и плещетъ и воетъ Тенга, огрызаясь волнами на плиты, замедляющія бѣгъ ея. Сыро, душно, темно въ тѣснинѣ, она глядитъ полуразверстою могилою; но есть и у могилы, какъ у всякой бездны, свое обаяніе... что то невольное манитъ, тянетъ туда броситься.... я брошусь туда!... Чапаръ, ступай впереди, показывай бродъ! День вечерѣетъ, а мнѣ пора!

— Нѣтъ, ага, хладнокровно отвѣчалъ проводникъ, нашъ староста при тебѣ мнѣ наказывалъ не ѣздить по рѣкѣ, я не смѣю ослушаться. Ты утонешь, тебѣ ничего, а съ меня вѣдь спросятъ отвѣта, зачѣмъ я ввелъ тебя въ бѣду. Да правду сказать, въ такую полноводь я и самъ къ молодой бы женѣ ѣхать не рѣшился.

Я показалъ ему червонецъ.

— Дай хоть пулю, не только монету и тогда не поѣду. Мнѣ своя голова еще не надоѣла. Посмотри на скалы, черной полосы ни гдѣ не видать, значитъ: вода все идетъ на прибыль.

— Послушай, пріятель, сказалъ я ему, если ты не поѣдешь впереди, то посмотрѣлъ бы я какъ ты не поѣдешь за мною.

И съ этимъ словомъ поскакалъ я къ берегу, но подъѣхать къ нему было гораздо легче, нежели съ него съѣхать. Проклятое четвероногое, на которомъ сидѣлъ я, видно тоже помнило наказъ Рустамскаго * старосты и никакъ не хотѣло купаться въ мутныхъ волнахъ Тенги. Однакожъ нѣсколько ударовъ нагайки придали ему достаточное количество бодрости, чтобъ спрыгнуть въ воду, но ни какъ не болѣе. Упершись по груди въ водѣ, оно съ стоическимъ хладнокровіемъ выносило градъ ударовъ острыми Турецкими стремянами въ бока, да семихвостой Персидской плети по крестцу, не включая въ то число браней на всѣхъ Готическихъ и Семитическихъ языкахъ. Эта борьба не могла длиться, я принужденъ былъ поднять коня на дыбы — и въ этотъ мигъ рвануть его впередъ силою всѣхъ подстрѣка-

* Деревня Русты лежитъ верстъ 18 отъ Кубы, въ долинѣ между хребтомъ и сею. Тамъ я перемѣнилъ

ній, онъ пошелъ не хотя, но пошелъ. — За мной съ кислыми, длинными лицами готовились съѣзжать гуськомъ одинъ за однимъ двое Русскихъ и Татаринъ проводникъ, споря кому послѣднему.

Не успѣлъ я проѣхать пяти шаговъ противъ теченія, вдругъ какой-то всадникъ, вооруженный съ головы до ногъ, схватилъ за устцы моего коня. До сихъ поръ не могу объяснить себѣ, откуда онъ взялся, и отъ чего я такъ незапно его увидѣлъ? Вывернулся ли онъ изъза утеса, обогналъ ли онъ меня или встрѣтилъ? — ничего не знаю. Знаю только, что когда я поднялъ на него изумленные взоры, онъ стоялъ передо мной смѣло, на сильномъ конѣ. Эриванскій папахъ, закинутый назадъ вполнѣ открывалъ его загорѣлое, но пріятное лицо, опушенное короткою черною бородою. Онъ былъ средняго роста; широкоплечъ, строенъ. Изъ подъ чухи съ откидными рукавами сверкала кольчуга, съ бляхами насѣченными золотомъ. Кромѣ ружья, за спиной его на крюкѣ прицѣпленъ былъ коротенькій мушкатонъ, какіе носятъ одни Турки. Въ петлѣ пояса надъ кинжаломъ выглядывалъ пистолетъ, два подобныхъ висѣли въ сквозныхъ кубурахъ сѣдла.

— *Аталыкъ-ли-сенъ?* — сказалъ онъ мнѣ, не

отнимая съ поводовъ руки, одѣтой стальнымъ налокотникомъ и кольчатою поручью. Развѣ ты безумецъ?

Желѣзное кольцо правой руки моей невольно упало на курокъ пистолета.* Я всталъ на стременахъ, чтобы измѣрить дерзкаго, гнѣвъ отнялъ у меня слова. Я нескоро нахожусь въ нежданныхъ порывахъ гнѣва.

Впрочемъ этотъ всадникъ очень мало заботился о моемъ пистолетѣ и негодованіи. Онъ преспокойно оборотилъ моего коня, и можно сказать, вытащилъ меня на берегъ. Потомъ слѣзъ съ сѣдла, отдалъ подержать своего жеребца проводнику и подошедши ко мнѣ учтиво молвилъ:

— Не сердитесь, ага, на мой поступокъ. Это было не только для пользы, для спасенія вашего.** Рѣка бушуетъ необычайно отъ снѣговыхъ и дожденыхъ потоковъ, дотого, что проѣздъ по ней въ этотъ часъ просто невозможенъ. Я жилецъ этихъ скалъ; конь мой знаетъ это у-

---

* По Дагестанской привычкѣ, я ношу на большомъ пальцѣ желѣзное кольцо, для удобнѣйшаго напода тугихъ курковъ Азіатскаго оружія.

** Хотя мѣстоимѣніе ты не щитается у Татаръ неучтивостію; но люди образованные предпочитаютъ въ разговорахъ съ равными и высшими, мѣстоимѣніе вы,

щеліе лучше нежели свою торбу, но я развѣ отъ смерти рѣшился бы отважиться на нем проѣхать по Тенгѣ за хребет. Переждите часъ, много два, я самъ провожу васъ, пусть только на пядь стечетъ вода!

Спутники мои, хваля добраго человѣка, уже треножили коней. Мнѣ самому смѣшно стало сидѣть, надувшись, нерхожъ и держаться за курокъ, когда никто не грозитъ нападеніем или обидою. Я спрыгнулъ на землю, сбросилъ съ плеча бурку и пригласивъ знакомъ руки незнакомца сѣсть рядомъ, сказалъ, складывая подъ себя ноги:

— Дѣлать нечего. Волею и неволею остаюсь здѣсь. Я ни какъ не думалъ, что Тенга ѣстъ гостей своихъ, и что у ней есть пріятели, которые встрѣчаютъ этихъ гостей не очень ласково.

Незнакомецъ мрачно улыбнулся.

— Я горецъ, ага, возразилъ онъ, и всегда считалъ лучшимъ вытащить изъ воды человѣка хоть за бороду, чѣмъ утопить его за ноги. Персіане золотятъ для женъ своихъ миндаль, за то золотятъ на нихъ и кинжалы. Горецъ подаетъ не крашеную,* но вѣрную руку на пріятельство.

* Прошу вспомнить моихъ почтенныхъ читателей, что на всемъ Востокѣ мода — красить концы пальцевъ хною, или какъ зовутъ тагарахною.

язнь, и не кланяется врагу, подбираясь ловчей поразить его въ сердце. Впрочемъ если я непривѣтливо помѣшалъ вамъ утопуть, *тахсыру.м-,дань кечь*! извините меня. Я мало жилъ съ Русскими, и давно забылъ то, что зналъ!

Горячая мысль промелькнула у меня въ головѣ: эта встрѣча, эти пріемы, эти рѣчи. . . . Твое имя? спросилъ я быстро и неожиданно.

Незнакомецъ въ это время высѣкалъ огонь на трубку. — Мое имя? отвѣчалъ онъ. . . . я еще несдѣлалъ его. * А я бы хотѣлъ, чтобы мое имя могло смущать и страшить цѣлыя дружины, какъ пушка тревоги; чтобы каждый злодѣй блѣднѣлъ слыша его, какъ внемля шелесту крылъ ангела смерти. Не воли, а силы не достало такому желанію, и меня теперь вмѣсто: блистательный, щедрый, правдивый, побѣдитель Мулла-Нуръ, зовутъ очень просто — разбойникомъ Мулла-Нуромъ!

— Ты Мулла-Нуръ? вскричалъ я, вскочивъ съ бурки и хватаясь за шашку.

Въ моей головѣ закрестили разныя мысли... схватить, убить его . . . онъ былъ одинъ, а насъ четверо; съ другой стороны думалъ я,

* Надобно пояснить, что *имя* и *слава* однозначущи на Татарскомъ языкѣ, и оба выражаются однимъ словомъ. *Авт.*

о далъ мнѣ право убить беззащитнаго, а
ять его открытою силою, живьемъ, нечего
ало и думать. Притомъ: за что бы я сталъ
реслѣдовать человѣка, который оказалъ мнѣ
слугу? . . .

Мулла-Пуръ хладнокровно, однакожъ при-
ально, глядѣлъ на меня, и какъ будто уга-
явъ мое колебаніе, положилъ трубку на зем-
о и дважды хлопнулъ въ ладоши! Слѣдуя
ором за его взорами, я взглянулъ вверхъ,
болѣе десяти ружей изъ за камней на утесахъ,
ъ за пней деревьевъ наведены были прямо
нѣ въ голову . . . спутники мои уже спали
акрывшись бурками . . . я вздрогнулъ.

— Это, сказалъ онъ улыбаясь, для того, чтобъ
оказать тебѣ, что мнѣ не чего бояться! Онъ
лопнулъ . . . стволы исчезли, — а это, чтобъ
оказать тебѣ, что при мнѣ ты безопасенъ.
юдская честность не совсѣмъ еще для меня
звѣрилась, однакожъ я нахожу: кольчуга са-
ая прочная рубашка, а пистолетъ самое мяг-
ое изголовье, и всегда держусь правила: вѣрь
емногимъ, а берегись всѣхъ! Если я ког-
а нибудь погибну измѣною, то конечно не
ъ западнѣ довѣрчивости. Это не касается до
ебя . . . я не зналъ тебя въ лицо, не помню
воего имени; но я знаю твою душу, и помню
се, что про тебя мнѣ разсказывали. Вчерась

я былъ въ Кубѣ и свѣдалъ: ты скоро долженъ отправиться въ Шамаху, стало быть я ждалъ тебя. Ты гость мой и дорогой, хотя невольный гость.

Онъ хлопнулъ три раза, и черезъ 2 минуты сталъ передъ нами, сбѣжавъ съ утеса, молодой Татаринъ щегольски одѣтый. Шубка его была подбита хорьковымъ мѣхомъ, чуха обложена широкими галунами и пряжки на перевязяхъ патронницы и рога, надѣтыхъ на крестъ, сверкали золотою насѣчкою. Мулла-Нуръ ласково глядѣлъ на него, когда онъ разостлалъ маленькую скатерть, положилъ на нее чурекъ, сыръ, и нѣсколько яблоковъ.

— Буюръ ага! * сказалъ онъ мнѣ, предлагая вечерю. Не чуждайся ни чьего хлѣба, это даръ Аллаха, а не человѣка, и переломивъ его со мной, ты не обяжешься мнѣ пріязнію. Этимъ же самымъ кинжаломъ, которымъ отрѣжешь ты кусокъ, можешь пробить мое сердце, когда служба твоя того потребуетъ, и я не обвиню тебя. Аллахъ, Аллахъ! — люди сосутъ одну грудь, и потомъ отравляютъ другъ друга, а я стану ждать дружбы отъ пришлеца, за

* Буюръ значитъ: прикажите, благоволите, не угодно ли, а иногда также какъ слово *бали* (такъ) значитъ: чего изволите?

то только, что онъ вкусилъ отъ одного со мной хлѣба!

— *Яхши олсунъ*! прихолвилъ я, ломая чурекъ. Да будетъ во благо!

Съ каждымъ мгновеніемъ любопытство мое узнать этого человѣка покороче, возрастало. Изучить дикій умъ, сбросившій съ себя всѣ условные путы общества, вглядѣться въ игру страстей отданныхъ собственной волѣ, да это находка, которая не всякому дается, или по крайней мѣрѣ не всякимъ ловится!

— Знаешь ли, Мулла-Нуръ, сказалъ я ему, что я очень хотѣлъ, даже искалъ тебя увидѣть, и очень радъ, что неожиданный случай свелъ насъ!

— Только увидѣть, только поглядѣть на меня, какъ на ручнаго тигра, желалъ ты, наровнѣ со многими своими земляками? — Да, вотъ судьба моя: одни бѣгутъ меня изъ страха, другіе слѣдятъ изъ любопытства! Никто не придетъ пожалѣть, утѣшить меня! Впрочемъ, сожалѣніе и утѣшеніе сносны только изъ устъ друга. Не прошу ихъ, не хочу ихъ! Извини меня . . . въ одиночествѣ Богъ знаетъ откуда берутся чудныя прихоти, странныя мысли: онѣ сыплются невольно на голову перваго встрѣчнаго, какъ осенніе листы съ дерева.

Видно было, что Мулла-Нуръ тронутъ .... онъ

понявъ головою . . . потомъ весело взглянулъ и прижолнилъ, желая перемѣнить разговоръ. —Ты глядишь наѣздникомъ . . — у тебя вѣрно хорошее оружіе? и въ разсѣянности протянулъ онъ руку къ моему пистолету заткнутому за поясомъ.

Ружья у обоихъ насъ были уже сняты и дружно висѣли на одномъ сучкѣ: этого требовалъ Азіатскій этикетъ. Слѣдственно и очевидно, что отданая свой пистолетъ Мулла-Нуру, я безусловно предавалося его власти. Кромѣ очень двусмысленной славы, ничто не ручалось мнѣ за честь разбойника, а богатая оправа подъ золотомъ и чернетью дорогаго Венеціанскаго ствола, еще болѣе умножала искушеніе. Я очень хорошо зналъ, что самый безкорыстный Азіатецъ, растаетъ при видѣ отличнаго оружія, неподкупный прежде ничѣмъ . . . зналъ, что за оружіе на Кавказѣ не рѣдко льются рѣки крови, продаются деревни и цѣлые стада; но показать недовѣрчивость значило бы признаться въ робости... всѣ эти мысли вмѣстились въ одинъ мигъ; я вынулъ пистолетъ изъ чехла и подалъ Мулла-Нуру.

Я увѣренъ, что онъ безъ всякой думы, попросилъ посмотрѣть мое оружіе, но потомъ взвѣсилъ важность своей выходки и уже съ

нажреніемъ длилъ опытъ. Нѣсколько разъ, наводилъ и опускалъ онъ курокъ, устая на меня дуло, а между тѣмъ заглядывалъ на меня изъ подлобья. Но будь онъ въ десять разъ проницательнѣе, онъ и тогда бы не увидалъ на лицѣ моемъ тѣни того, что происходило внутри: я спокойно курилъ трубку. Никто въ свѣтѣ не цѣнитъ лучше Азіатцевъ полного довѣрія и отваги. Я замѣтилъ уже, что Мулла-Нуръ былъ самъ не свой отъ удовольствія. Когда онъ отдалъ мнѣ пистолетъ, глаза его сверкали.

— Чудная вещь, сказалъ онъ, желѣзо и оправа стоятъ другъ друга, а въ твоей рукѣ стоятъ вѣрно двухъ!

— Ты еще не замѣтилъ въ немъ лучшаго, молвилъ я, это полка съ пружиною, новой Кубачинской выдумки, пожми огниво, — изъ него отпадаетъ на полку золоченная покрышка, чтобы порохъ не развѣялся и не отсырѣлъ, а при выстрѣлѣ она сама входитъ въ прежнее мѣсто. Я показалъ ему секретъ этой выдумки, онъ очень занимался ею, вскрывалъ, закрывалъ; Азіатецъ ребенокъ, когда дадутъ ему въ руки оружіе. Онъ дивился также пистонному ружью моему; выстрѣлъ безъ кремня былъ для него непонятнымъ чудомъ. Впрочемъ ему

гораздо болѣе понравилось мое Азіатское съ золоченными кольцами ружье.

— Вотъ это иное дѣло, говорилъ онъ, легко, ловко на конѣ, не то что твое Фиренское, съ лопатою вмѣсто приклада.

Спустивъ на ноготь лезвіе моего кинжала, и щелкнувъ въ него раза два надъ ухомъ съ видомъ знатока, онъ съ нѣжностію вертѣлъ его въ рукахъ.

Настоящій Базалай — отецъ Базалай, сказалъ онъ. Знаешь ли, какую штуку выкинулъ онъ въ Дербентѣ съ поддѣльными подъ его имя клинками? Разъ толкается онъ на базарѣ, а носящій кричитъ: кинжалы, Базалаевскіе кинжалы! Покупщики кинулись къ нему на пробой; подходитъ и самъ мастеръ, а его ни кто не зналъ въ лице. Досада взяла его, что всякой кузнецъ подрываетъ его славу, онъ вынулъ свой кинжалъ и пересѣкъ болѣе дюжины самозванцевъ-клинковъ, легче свѣчекъ, и бросилъ ихъ пристыженному обманщику въ лице. Конечно у него былъ завѣтный клинокъ, однако и твой хорошъ, онъ мнѣ очень, очень нравится!

Не надобно долго жить съ Азіатцами, чтобы понять этотъ намекъ. Я отстегнулъ съ пояса ножны, и приложивъ правую руку къ сердцу, поднесъ лѣвою кинжалъ Мулла-Нуру.

— *Пешкешъ сана*, сказалъ я. — Прошу принять.

Онъ разсыпался въ благодареніяхъ.

— Это будетъ мнѣ всегдашній нахатникъ по тебѣ; въ замѣну, ты позволишь, ага, предложить тебѣ мой. Онъ, правда, не такъ красивъ, на немъ не написано золотомъ молитвы, за то ни какая молитва не спасетъ, ни какая кольчуга не удержитъ отъ его удара!

И Мулла-Нуръ положилъ серебреный рубль на пень, взмахнулъ кинжаломъ и двѣ половинки упали на земь.

Я конечно не потерялъ въ промѣнѣ. Кромѣ внутренняго достоинства, странность его полученія отъ знаменитаго разбойника навѣрно чего нибудь да стоитъ. Я буду хранить его всегда.

— А вотъ, сказалъ онъ съ глубокимъ вздохомъ, снимая съ сучка свою винтовку, вотъ причина всѣхъ моихъ бѣдъ, всѣхъ грѣховъ моихъ! она мнѣ досталась отъ отца, какъ семейная святыня, и я сберегъ ее какъ святыню!

Онъ одушевлялся, глядя на свое сокровище, бросая его на прикладъ, лаская рукой блестящій, сереброструйный стволъ. На другой сторонѣ рѣки, на высокомъ бѣломъ камнѣ, бѣгала маленькая сѣренькая птичка: Мулла-Нуръ приложился по ней, выстрѣлилъ, и птичка безъ

головы упала на мѣстѣ. Съ самодовольнымъ видомъ взглянулъ онъ на меня; потомъ заряжая снова, примолвилъ медленно:

— Да, это ружье дороже крови за него пролитой! Многимъ оно стоило жизни; мнѣ болѣе чѣмъ жизни — счастья, болѣе нежели счастья — родины!

Я съ участіемъ глядѣлъ на Мулла-Нура. Тяжкая тоска отзывалась въ послѣднихъ словахъ его, тоска глухоревущая изъ сердца, какъ левъ, замкнутый въ пещерѣ обрушенною скалою. Бурныя чувства вздымали грудь его, зажигали взоръ, струились по лицу.

— Это тайна? спросилъ я Мулла-Нура.

— Что на свѣтѣ есть тайнаго кромѣ нашего сердца. Разсѣятъ ночь крылатая злодѣйства; дремучій лѣсъ находитъ голосъ на обличеніе; разступается хлябь моря и выдаетъ утопленное хищниками добро. Могилы, самыя могилы не скрываютъ во мракѣ своемъ преступленій и съ червями зарождаются въ ней мстители. Я видѣлъ: Русскіе узнавали по внутренностямъ жертвъ прошлое, какъ идолопоклонники предки наши угадывали по нимъ будущее. А когда можно заставить говорить мертвецовъ, кто заставитъ молчать живыхъ? . . . тайное скоро станоится явнымъ и базарная молва нерѣдко трубитъ о томъ, что было шепотомъ сказа-

но между двоими. — Нѣтъ, моя жизнь не тайна, мои похожденія можетъ разсказать тебѣ послѣдній мальчикъ въ Кубѣ. — Онъ убилъ своего дядю и бѣжалъ въ горы! вотъ вся повѣсть обо мнѣ, и она не ложь, но полна ли она? но справедливо ли осудитъ меня по этимъ словамъ всякій, кто ихъ услышитъ? На это могу отвѣчать только я. Пусть отрубятъ мнѣ голову, что жъ найдетъ въ этой головѣ судья для объясненія моего преступленія? Пусть вырѣжутъ сердце, какъ отгадаетъ въ немъ врачъ пружины, которыя двинули на убійство? . . . А въ этомъ вся важность для меня! Только это зову я на судъ совѣсти, все остальное дѣло случая, все остальное пусть какъ хотятъ судятъ въ людскомъ диванѣ. Тяжело мнѣ думать объ этомъ, еще тяжелѣе разсказывать и между тѣмъ оно меня душитъ! . . . мучительно вырывать зубчатую стрѣлу изъ раны, но и оставлять въ ней нестерпимо. . . .

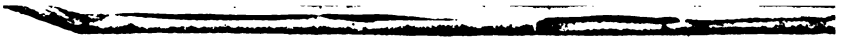
Мулла-Нуръ опустилъ голову на грудь и трудно дышалъ . . . съ безмолвнымъ участіемъ глядѣлъ я на него, нежелая неумѣстными вопросами пѣнить желчь, и безъ того кипучую. И вотъ онъ будто пробудился изъ глубокаго сна, повелъ взорами окрестъ, покачалъ головою и потомъ, устремивъ свои черные, выразительные очи на меня, молвилъ:

— Я положу свое сердце на ладонь твою, и разскажу тебѣ все.

И онъ разсказалъ главные случаи своей жизни: но только сначала обращался онъ ко мнѣ; потомъ, разгараясь на бѣгу подобно колесницѣ, разсказъ его превратился въ какую-то жалобу, въ какую-то прерывчатую исповѣдь, въ чудный разговоръ съ самимъ собою! . . . казалось, онъ вовсе забылъ, что тутъ есть слушатель. Была ли то необходимость облегчить сердце, сбросивъ съ него накипь страстей; была ли то жажда оправданія: безотчетное, но святое чувство уваженія — дань мнѣнію, равно общее и невиновстраждущимъ и отъявленнымъ злодѣямъ? — не знаю. Не смѣю увѣрять, что я записалъ разсказъ Мулла-Нура вполнѣ, еще менѣе со всей силѣ . . . я многаго могъ не понять, многое забыть. Притомъ какъ передамъ я обаяніе истины чувствъ, невыраженныхъ, а вырвавшихся изъ возмущенной души? Чѣмъ замѣню ужасно живописную природу, передъ лицемъ которой была встрѣча эта? Холоднымъ ли черниламъ блеснуть горючей слезою? Вранымъ ли буквы, на бѣломъ полѣ безжизненной бумаги, нарисуютъ въ воображеніи, эти громады горъ, проливающихъ на насъ влажныя, гробовыя тѣни свои, и Тешу вырывающую-

ся изъ удушающихъ объятій великановъ утесовъ?

Рѣка стекала, гровно перекликались надъ головою орлы. Мулла-Нуръ съ жаромъ разсказывалъ мнѣ свою повѣсть, и рѣчь его походила на бушеванье горнаго потока, на крикъ пустыннаго орла при добычѣ. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .



Надо было обѣими руками держать сердце, чтобъ не упорхнуло оно встрѣчу или вслѣдъ Надеждѣ Петровнѣ Зоричъ, когда она явилась на балъ къ Австрійскому посланнику, помните, что давалъ онъ на минувшей маслянице. Не смѣю сказать, что она была прелестнѣе всѣхъ, что ея туалетъ былъ свѣжѣе прочихъ. Но крайній міръ когда черное море мущинъ разступилось передъ нею, а цвѣтникъ дамъ принялъ ее въ свое радужное лоно, казалось, ропотная зыбь пролетѣла по волнамъ и съ тѣмъ вмѣстѣ вѣтерокъ закачалъ прелестными головками дѣтей Флоры. Лучшій тонъ слишкомъ вѣжливъ, чтобы вслухъ высказывать свои мнѣнія,

но мущины значительно мѣнялись взглядами, а дамы гордо сжимали губки и чуть замѣтнымъ движеніемъ рѣсницъ указывали подругамъ на новую гостью, на опасную соперницу, однимъ словомъ все ожило, все засверкало отъ пролета этого метеора, все: звуки, сердца и взоры! Худо скрытая досада и слишкомъ явное одобреніе доказывали, что Надина мила какъ нельзя болѣе, а по моему это стоитъ гораздо болѣе многихъ прилагательныхъ превосходной степени.

И въ самомъ дѣлѣ отъ прически Эліо до башмачка Соболева все было очарованіе въ этомъ очаровательномъ созданіи. Какъ просто и мило коса, заплетенная вѣнкомъ, возникала надъ ея свѣтлорусыми волосами, причесанными вгладь, а конецъ этой косы разсыпался гроздомъ кудрей съ немногими цвѣтками не привитыми, а будто забытыми нечаянно. Тонкая золотая цѣпочка, работы воздушныхъ Фей, бѣжала по двойной дорожкѣ, проложенной гребенкою художника и смыкалась на высокомъ лбу красавицы фероньеркою изъ трехъ грушевидныхъ жемчужинъ; онѣ мерцали, онѣ дрожали на опаловомъ шатонѣ. Серги вились змѣйками съ изумрудными чешуями, впивались въ розовыя ушки и казалось нашептываютъ ему обольстительныя повѣсти, учатъ дивнымъ хит-

ростахъ. Два фермуара на ожерельѣ... да мое ли дѣло толковать о драгоцѣнныхъ украшеніяхъ? Пускай ее совраществуетъ мода обвѣшивать себя алмазами какъ на продажу. Пускай эта мода украшаетъ невѣстъ всею прелестью расчета минимыхъ количествъ. Надина не была уже невѣстою, а для меня эти многоцѣнные замки надъ скрытыми прелестями, все равно что чугунные замки надъ несмѣтнымъ сокровищемъ, раждаютъ во мнѣ одно желаніе — сломать и сбросить ихъ долой. Да и кто изъ самыхъ корыстолюбивыхъ баронокъ Ост-Зейскихъ провинцій сталъ бы цѣнить украшенія, глядя на эти каріе съ поволокою глаза, которые словно таютъ огнемъ нѣги, на эти губки, съ которыхъ хочетъ сорваться поцѣлуй; на эти щечки съ улыбкою утра, съ жаромъ полудня! Я не смѣю и заговаривать объ этихъ полненькихъ, пухленькихъ, румяныхъ плечикахъ, съ которыхъ скользятъ рукава... объ этой искусительной ножкѣ, которая напрасно прячется въ отласный башмачокъ!.. не смѣю, потому что у меня въ глазахъ роятся звѣзды и занимается духъ, вспоминая объ однихъ плечикахъ: я бы въ нихъ выцѣловалъ ямочки, еслибъ тамъ ихъ не было прежде! Или объ одной маленькой, миленькой ножкѣ... вообразите, что она вся укладывалась на моей ладони

и столько, столько разъ была согрѣта моимъ дыханіемъ!... Вотъ почему ненавижу я коварные башмаки Соболева и спадающіе рукава мадамъ Сихлеръ.

Эта обувь, этотъ покрой платья измѣнники! Они или обличаютъ вамъ то, чего не стоитъ видѣть; или напоминаютъ то, чего ужъ вамъ не видать.

Да и одни ли плечики Надины могли снести съ ума любова изъ Платоническихъ мудрецовъ, искусить самаго постнаго изъ отшельниковъ міра? Одинъ уже станъ ея, который можно было два раза обвить руками, одна уже грудь ея, которою могла бы гордиться шестнадцатилѣтняя дѣвушка; грудь, какъ заря, чуть подернутая кружевнымъ туманомъ; какъ волна перекатная, что падаетъ, возникаетъ, прыщетъ вешнею свѣжестію, и манитъ каждаго, какъ Гетева рыболова, утонуть въ заѣтномъ своемъ лонѣ! Вы бы сказали, что платье ея вытканно вѣтромъ Юга изъ облаковъ и лучей. Вы бы подумали, что цвѣтокъ приколотый на лѣвой сторонѣ, пробился сквозь снѣгъ газа—прямо изъ ея жаркаго сердца! Прибавьте къ этому пріемы, нарѣчіе и всѣ маленькія дарованія лучшаго общества, въ которомъ она росла и расцвѣла. Прибавьте къ этому угадъ людей, довольно тонкій, чтобы цѣнить ихъ по достоинствамъ, но еще

не довольно опытный, чтобы презирать по заслугамъ. Прибавьте къ этому нравъ живой и чувства жадные впечатлѣній, совсѣмъ не по наущенію дерзкаго, безпокойнаго ума, а по собственной наклонности, совсѣмъ не изъ любопытства узнать, а изъ необходимости почувствовать. Она разрѣшила загадку жизни и цѣль бытія словомъ: *наслаждайся!* словомъ, которое насилу отрыли мы изъ пыли архивовъ, изъ тисковъ опыта, изъ подъ корней вѣковыхъ дубовъ и костей допотопныхъ животныхъ. Слово, за которое платили мы кусками сердца, годами жизни, спасеніемъ души!... и которому выучиваются женщины вдругъ, набѣло, по вдохновенію, въ открытой академіи природы, а не подъ копотными сводами университетовъ; не на скамьѣ школьника и не на доскѣ труженика, а въ вихрѣ танцевъ, а на бархатной подушкѣ дивана.

Правду сказать, что ни философамъ ни дамамъ не открылось при этомъ геніальномъ изобрѣтеніи, *безділицы: какъ и сколько?* Но тѣмъ не менѣе Надина была изъ числа самыхъ плѣнительныхъ обитательницъ Петербурга, изъ числа тѣхъ немногихъ Сѣверныхъ женщинъ, которыя носятъ сердце подъ корсетомъ, а не подъ шляпкою. Подъ вѣнецъ всѣхъ такихъ прелестей ей было не болѣе 20 лѣтъ, и она

уже два года, и только два года была женой, женой *ближняго*!

— Вполнѣ ли вы чувствуете магнитную силу обручальнаго кольца; центровлекущую силу женщины, оправленной въ завѣтное мѣстоимение *моя*?

Если нѣтъ, значитъ вы крещены въ рюмкѣ мороженаго, или десять лѣтъ прожили въ Тифлисѣ.

Такъ по крайней мѣрѣ не думалъ ни одинъ изъ молодыхъ Корнфесъ бала и всѣхъ менѣе капитанъ конныхъ гренадеровъ Зиѣевъ.

Надина произвела на него въ этотъ вечеръ необыкновенное впечатлѣніе: ему казалось, что она сей часъ родилась для любви и поклоненія свѣта. Онъ дивился, какъ до сихъ поръ не вспало ему на умъ приволокнуться за такою свѣжею красотою, которая кромѣ супружеской завѣтности очерчена была еще болѣе завѣтнымъ, стало быть еще болѣе заманчивымъ, кругомъ любви къ лучшему его другу Платону Радову.

— Княгиня Софья надоѣла мнѣ своими притязаніями на безусловное рабство, думалъ онъ, мое 30е іюля недалеко, а тамъ къ чьимъ стопамъ положу я свою желѣзную корону? надо попытать щастья въ Надинѣ!... она такъ еще пылка, такъ прекрасна, притомъ какая слава

выбить изъ ея сердца Платона! . . . Правда, Платонъ человѣкъ не дюжинный, и страсти ихъ внушенныя не пламя соломы . . . Надина любитъ его безъ памяти . . . но развѣ она не женщина? развѣ не два уже мѣсяца какъ онъ въ отлучкѣ, а и десятой части этого времени слишкомъ, чтобы испарить самую постоянную изъ свѣтскихъ страстей. У женщинъ чуть долой съ глазъ, вонъ изъ сердца! и тотъ вѣчно виноватъ, кого здѣсь нѣту.

Но чѣмъ же виноватъ передо мной Платонъ? Чѣмъ кромѣ своей довѣренности? Впрочемъ не лучше ли взять урокъ въ познаніи женщинъ отъ друга, чѣмъ отъ какого нибудь негодяя? По крайней мѣрѣ ему останется утѣшенье, что эта жемчужина досталась въ руки достойнаго наслѣдника!

И Зяблевъ всталъ съ видомъ человѣка, готоваго на приступъ.

— Почему знать, говорилъ онъ самъ себѣ охорашиваясь, можетъ статься Надина сдѣлаетъ мнѣ радостный сюрпризъ и отправитъ *на траву* своимъ отказомъ. Какихъ чудесъ не бываетъ въ свѣтѣ, какихъ причудъ въ женщинѣ.... во всякомъ случаѣ подкопъ подъ счастіе друга — пріятное развлеченіе.

И пусть тотъ, кто пилъ молоко и вино свѣта, подыметъ камень на своего брата, на своего

товарища! Книжники и Фарисеи, неужели думаете вы, что здравость вашихъ рѣчей уничтожаетъ заразу вашего примѣра? Шейте изъ красныхъ словъ себѣ епанчу, изъ подъ ней все будутъ видны козлиныя ноги. Кричите противъ развращенія нравовъ, но знайте, что этимъ вы только докажете чужую вину, а не правоту свою.

Нехуже другаго видѣлъ Змѣевъ, что хорошо, что худо. Но дѣлая доброе, онъ не хвалился имъ; дѣлая зло, не скрывалъ его подъ личиной незнанія. Въ немъ осталось сознаніе всего высокаго, всего прекраснаго въ другихъ, но нисколько силы, чтобы осуществить это самому. Честолюбивая дѣятельность, безъ рѣшимости на трудъ, поглощена была свѣтскою ничтожностію, обратилась въ какое-то лихорадочное безпокойство всюду кидаться и всего отвѣдывать. Иступивъ свои чувства прежде крѣпости, изсушивъ сердце ранѣе полноты, онъ жаждалъ обновить ихъ новыми ощущеніями, окунуть въ источникъ молодости, хотя бы онъ кипѣлъ кровью или крѣпкой водкою, хотя бы туда нужно было бросить честь женщины и счастье друга.

И все это готовъ былъ сдѣлать онъ безъ малѣйшей злобы, скорѣе по модѣ, чѣмъ по собственному убѣжденію; но хотя рабъ моды

во мнѣніяхъ, навѣянныхъ изъ Парижа, онъ былъ властелиномъ са въ мѣлочахъ Петербургскаго военнаго дендинизма. Султанъ его рѣшалъ участь всѣхъ Австрійскихъ и Польскихъ шѣтуховъ на цѣлую зиму, смотря по длинѣ перьевъ пущенныхъ въ славу. Эполеты à la Zmejoff продавались пятью рублями дороже прочихъ. Его визитныя карточки служили образцемъ вкуса и почерка, даже фасонъ его дрожекъ и наборъ на хомутахъ бывали предметомъ толковъ и подражаній для щеголей. Не говорю уже объ его умѣньи войти и поклониться; начать и разорвать кстати разговоръ, тянуть или закруглять пріятно звуки — все уловки которыя мѣнялъ онъ ежемѣсячно, чтобы сбить съ толку своихъ подражателей.

И въ этотъ вечеръ Змѣевъ былъ одѣтъ какъ всегда, сохраняя le juste milieux между изысканностію щегольства и неумолимостію формы. Мундиръ его позволялъ себѣ кое гдѣ живописную складку и такъ же далекъ былъ отъ лощеной повизны прапорщика, только что выпущеннаго изъ школы юнкеровъ, какъ и отъ поблеклой небрежности усача, засѣвшаго въ ротмистрахъ. Перчатки его бѣлѣли какъ серебро; серебро сверкало какъ хрусталь. Никакихъ затѣй въ плетенкахъ эполетовъ, никакихъ цѣпочекъ на груди, этихъ гремушекъ,

столь любимыхъ пѣхотными франтами! Однимъ словомъ въ одеждѣ, въ поступи, въ рѣчахъ его было замѣтно:

Сліянье бранной простоты
Съ непринужденностію свѣтской,
И безъ Французской суеты,
И безъ недвижности Нѣмецкой.

И между тѣмъ Зиѣевъ въ душѣ смѣялся своимъ успѣхамъ, потому что самолюбіе не погасило въ немъ самосознанія.

— Какъ мало надобно свѣту, чтобы попасть въ образцы . . . и какъ малъ, какъ мелоченъ этотъ свѣтъ, когда такіе образцы его царуютъ! думалъ онъ, пробираясь съ гордою скромностію въ гостиную на поклоны.

Если хочешь, чтобъ люди тебѣ вѣрили, кажись будто ты имъ вѣришь, а главное презирай ихъ какъ возможно учтивѣе.

Вы видите, если бъ одна хитрость рѣшала производство въ Англійскіе министры, Зиѣеву не далеко бы махнуть въ лорды. Жаль право, что онъ до сихъ поръ шпоритъ только лошадей.

И балъ уже клонился къ западу. Уже вечернимъ свѣтомъ мерцали свѣчи. Шары лампъ лили матовый блескъ на огнедышащія груди, на томныя лица танцующихъ. Усталая музыка растягивала ноты; ножки не летали, а шар-

нали по паркету. Крахмалъ и помада измѣнали, ленты и кудри надали развитыя, смятыя, былъ недалекъ уже рѣшительный мигъ, когда всѣ единодушно, хотя безмолвно сознаются, что пора поужинать или пора заснуть,— мигъ, въ который червонцы гремятъ на столахъ вмѣсто; когда слухъ кавалеровъ охотнѣе ловитъ звуки тарелокъ въ сосѣдней залѣ, чѣмъ кудрявыя фразы своихъ дамъ, а вѣеры дамъ совершаютъ частыя путешествія къ губкамъ, не смотря на любезность кавалеровъ.

Со всѣмъ тѣмъ часъ, предтеча этого перелома, самый счастливый часъ для ловитвы сердецъ. Въ началѣ, покуда блеста красотою и властію, дама принимаетъ первый привѣтъ отъ зеркала передней; покуда надежда на побѣды свѣжа у ней, какъ букетъ цвѣтовъ, подпесенный ей при появленіи въ залъ; покуда еще 6 контрдансовъ и 2 мазурки вьются и сплетаются передъ ней въ будущемъ, съ орденскими лентами, съ капителью эксельбантовъ, съ цвѣтами золотаго шитья; покуда тщеславіе ея выблется на пуху бѣлыхъ султановъ, играетъ съ лучами коварныхъ эпѣадъ, о, тогда для ней нужны цѣлыя хоры похвалъ, цѣлыя толпы поклонниковъ. Одинокій голосъ не отзовется у ней въ сердцѣ; одинокій взоръ не проникнетъ туда! И можетъ ли быть оно иначе? При на-

чалѣ красавица слишкомъ занята желаніемъ выказать свой нарядъ или разсчитать глазами чужой. Желанье заполонить общее вниманіе и страхъ не успѣть въ этомъ, поглощаютъ ее съ душой и сердцемъ. Никогда опытный остроумецъ, ни опытной кокетки не наберутъ этой поры одинокого эгоизма для лестнаго привѣта или пламеннаго объясненія . . . его не оцѣнятъ тогда, потому что не почувствуютъ, а не почувствуютъ, потому что не замѣтятъ. Дайте поле новичкамъ въ любви и въ свѣтѣ; дайте имъ показать свои эполеты и жилеты! позвольте имъ выстрѣлять свои застарѣлые комплименты и новопривезенныя остроты . . . выдержите молча и хладнокровно кокетство и наѣздничество безъ цѣли, и будьте увѣрены, что въ теченіи двухъ часовъ самолюбіе дамъ будетъ пресыщено; любопытство утомлено; умъ соскученъ пошлостями . . . холостая перестрѣлка эта станетъ рѣдѣть, умолкать! . . . хорошенькіе глазки найдутъ васъ гдѣ нибудь въ уголку; миленькій голосокъ назоветъ по имени, тогда, о тогда, часъ вашъ насталъ!

Поздо приходитъ къ дамамъ разсудительность, однако приходитъ, и онѣ постепенно склоняются отъ собирательныхъ именъ къ собственнымъ, отъ множественнаго числа къ единственному. Души ихъ расплавляются наконецъ

въ аристократической атмосферѣ бала, напоенной благовоніями и вздохами. Сердца, будто райскія птички, напорхавшись вдоволь, ищутъ отдыха на рукѣ какого нибудь счастливца.

— Счастливцы ль по крайней мѣрѣ искатели счастія! ловите же этотъ часъ на лету! Отцвѣтъ бала, все равно, что отцвѣтъ женщины, все равно, что ея тридцатилѣтній возрастъ. Въ обоихъ случаяхъ она становится необыкновенно чувствительна, она ярче, она жарче вспыхиваетъ передъ прощаньемъ. Ангелъ, лучъ за лучемъ, сбрасываетъ свое сіяніе, свиваетъ крылья и удостоиваетъ ступить на землю, удостоиваетъ раскрыть сердце свое земнымъ чувствамъ, съѣденъ всего прекраснаго и опаснаго.

Зяблинъ зналъ эту стратегію конечно не хуже моего: и вотъ почему только нѣсколько бросилъ двѣ или три ракеты привѣтствій Надинѣ, когда она пріѣхала; но явился передъ ней съ требованіемъ на 5-й французскій кадриль уже въ то время, когда мраморныя стѣны и зеркала потускли, и тщеславіе женское по необходимости должно было искать отраженія въ глазахъ своего партнера. — Можетъ быть Надежда Петровна удостоитъ взглянуть на свои таблетки, сказалъ онъ, почтительно. Я жду, какъ нежившая душа, своего призыва къ жизни!

— Нежившая или отжившая, капитанъ — во всякомъ случаѣ вы можете быть увѣрены, что мнѣ не нужно прибѣгать къ воспоминаніямъ изъ слоновой кости, когда дѣло идетъ о васъ. Я думаю даже, что еслибъ мнѣ случилось ошибиться въ очереди, конечно не вы бы въ этомъ проиграли.

— О конечно не я, сударыня! Впрочемъ я слишкомъ совѣстливъ для желанія вамъ проигрыша!... И такъ пусть старшинство рѣшитъ производство въ счастливцы, точно ли мнѣ предназначена эта четверть часа?...

— Вамъ, капитанъ, вамъ, по праву и по волѣ, отвѣчала Надина, подавая ему нераскрытыя таблетки. Убѣждены ль вы теперь, господинъ маловѣрный? примолвила она, вставая и ласково опершись на его руку.

— Тысячу извиненій, сударыня! Я такъ мало избалованъ счастіемъ, что ему всего менѣе вѣрю.

И хитрецъ выискалъ для Vis-à-vis чутъ ли не самаго плохаго танцора, а ужъ даму его можно было назвать живою антитезою красоты и все это для того, чтобъ ярче выказать прелесть Надины и собственную ловкость. Змѣевъ повелъ атаку не хуже Карно и Кормонтаня, если бы Карно и Кормонтань занимались осадою *слабостей* вмѣсто осады крѣпостей.

— Въ первой паралели надо быть забавнымъ, говорилъ онъ; во второй занимательнымъ; въ третьей трогательнымъ, и только въ рѣшительный часъ демаскировать брешъ-баттарею. Приступы въ нашъ вѣкъ самый глупой анахронизмъ: при удачѣ вся слава отдана силѣ, а не умѣнью; при неудачѣ стыдъ, и нѣтъ возврата! То ли дѣло капитуляція: поспорятъ, погроздтъ и обѣ стороны довольны!

Надина была большая охотница посмѣяться и конечно никто лучше Змѣева не съумѣлъ бы насказать болѣе забавныхъ замѣчаній и эпиграмъ въ краткіе промежутки между шассе и балансе. Началась безконечная мазурка, и полулюбленный капитанъ усѣлся рядомъ съ Надиною, по неволѣ уступивъ сердечную ея сторону танцующему съ ней кирасиру.

Скрестивъ руки на груди, молча устремилъ онъ на нее глаза свои, и молчаніе его былъ одинъ изъ самыхъ лестныхъ его привѣтовъ.

Румянецъ удовлетвореннаго самолюбія разгарался на миломъ личикѣ Надины отъ конгревовскихъ взоровъ сосѣда.

— Вы не танцуете? сказала ему она, поправляя свое оплечье, чтобы имѣть предлогъ взглянуть туда куда ужъ давно прильнуло ея вниманье.

Капитанъ склонился надъ кругленькимъ плечикомъ Надины такъ, что его дыханье зашевелило кружева оборки, такъ, что за нѣсколько лѣтъ тому назадъ подобнымъ положеніемъ напрашивались на разрывъ съ дамою своихъ мыслей или на дуель съ мужемъ ея и компрометировали бы даже собственную жену. Autres temps autres soins! Въ то время, какъ мы юными Французскими фразами бранимъ юную словесность, жены наши (слава Богу: не мои) вводятъ въ моду совершенно райское обхожденіе, un laisser faire, un laisser aller, достойный острововъ Тихаго океана.

— У меня недостало дерзости уморить со скуки даму, которая бы въ забытьи отъ Бога и добрыхъ людей рѣшилась со мной на мазурку, отвѣчалъ Змѣевъ. Когда не мнѣ выпала доля танцовать ее съ вами, слишкомъ жестоко было бы требовать жертвы танцовать ее съ другою. «*Все или ничего*» надпись моего щита, сударыня.

— Какъ вы добры къ той, которую не выбрали! Какъ злы для всѣхъ, которыхъ собрали въ одно слово, чтобы всѣхъ уничтожить однимъ словомъ! Впрочемъ я хорошо понимаю вашъ расчетъ, капитанъ. Вы хотите служить при этой мазуркѣ волонтеромъ, чтобы не имѣя ни какихъ обязанностей, пользоваться всѣми вы-

годами. Посмотрите, если полная красавица Лелѣна не выберетъ васъ...

— Неужели она хочетъ обмануть? Такъ ли глядитъ она, чтобъ обманывать.

— Можетъ быть она хочетъ быть обманутою.

— Нѣтъ-съ, этого не можетъ быть, сударыня даже и этого.... но она въ самомъ дѣлѣ катится на меня!...

— Къ вамъ, капитанъ, да вамъ эта чаша здравія, увитая цвѣтами, какъ на Греческихъ пирахъ...

— Я бы не желалъ пить изъ этой чаши, вскричалъ Зиѣевъ, комически сплеснувъ руками...

— Будьте миловиднѣе, кажитесь добрѣе, идучи на казнь.

— Еслибъ вы приняли мою исповѣдь, еслибъ вы напутствовали меня, я бы сложилъ мою голову героемъ, сказалъ Зиѣевъ, натягивая перчатку и извинясь поклонами передъ избравшей его дамой. Grace donc, ou coup de grace!

Онъ медленно, мѣрными шагами возвратился на свое мѣсто.

— Теперь я покойникъ, сударыня, молилъ онъ, отнынѣ вамъ грѣхъ будетъ говорить или думать обо мнѣ что нибудь дурное.

— Я сбираюсь написать вамъ эпитафію, капитанъ.

— Безконечно обязанъ за честь!... это хоть кому дастъ желаніе убраться на тотъ свѣтъ какъ можно скорѣе; со всѣмъ тѣмъ, ради Бога, прочь эпитафію! Лучшая изъ нихъ — лесть, а лесть одна изъ граней лжи. Какая жъ радость обманывать послѣ смерти!

— А, такъ вамъ радостно обманывать во время жизни? Очень благодарна вамъ за эту искренность того свѣта! Я однакожъ въ этомъ свѣтѣ ею воспользуюсь.

Разговоръ прерывался каждый мигъ. Зиѣсинъ проклиналъ докучныхъ дамъ и каналеровъ, вмѣстѣ съ безвременными ихъ выборами, и не скрывалъ этого отъ своей миленькой сосѣдки.

— Вы неблагодарный, сказала она. Эти частые призывы должны лестить вашей любви къ самому себѣ.

— Но знаете ли, сударыня, что истинная любовь уничтожаетъ всякую другую? Пусть вы сочли бы меня за чудовище самолюбія; пусть бы я сталъ имъ въ самомъ дѣлѣ, однакожъ и тогда я не промѣнялъ бы радости сердца на удовольствіе ногъ. Вотъ почему тѣ дамы, которыя теперь выбираютъ меня, конечно дѣлаютъ мнѣ честь; но признаюсь тѣ, что меня обходятъ, дѣлаютъ мнѣ милость, мало этого, — благодѣяніе.

— Вы можете быть убѣждены, что впередъ я не выберу васъ ни разу.

— Лишь бы мнѣ оставаться близъ васъ, слушать васъ, любоваться вами!.. Странная вещь, когда я вижу, какъ вы порхаете въ танцахъ, во мнѣ вспыхиваетъ желаніе: быть вамъ волной морскою, которая вѣчно играетъ съ вѣтромъ и свѣтомъ. Когда жъ слышу серебристый, пѣвучій голосъ вашъ, я бы хотѣлъ назвать васъ райскою птичкою, чтобы имѣть отговорку прослушать васъ цѣлый вѣкъ и не очнуться!

Надина съ лукавымъ удивленіемъ раскрыла глаза.

— Да это чистѣйшая чувствительность, капитанъ! Это жемчугомъ низаная поэзія Востока!! Вы право станете для меня Знакомымъ Незнакомцемъ! Вы ли это, холодный, насмѣшливый капитанъ Змѣевъ?

— Капитанъ и кавалеръ, сударыня! Кѣмъ виноватъ, если порой воскресаютъ въ немъ чувства невѣдомыя или давно забытыя? кто?.. знаете ли, вѣрите ли вы, что есть особы отмѣченныя небомъ: онѣ скажутъ вамъ слово; подадутъ руку въ танцахъ; взглянутъ мимолетомъ и вы сердцемъ постигаете, что поэзія не выдумка. Что-то запываетъ, закипаетъ въ груди и пробивается наружу...

— Очень знаю и крѣпко вѣрю, капитанъ. Но въ такомъ случаѣ поэзія не спрашиваетъ у памяти своихъ вдохновеній. А то, что вы сказали теперь, было изъ памяти, не изъ сердца. Вы, который такъ хорошо умѣете говорить пренилыя, преострыя вещи, когда дѣло идетъ на привѣтствія, за чѣмъ занимаете вы въ долгъ парѣчіе чувства? Гдѣ-то и давно читала я это ... такъ старо!

— Такъ старо, что на очереди сдѣлаться новымъ. Да и вольно жъ было г-мъ сочинителямъ высказать ранѣе меня то, что я чувствую. Впрочемъ сравненіе, которое такъ вамъ къ лицу, взято у моего пріятеля Марлинскаго. Онъ, порой, щечится отъ меня острымъ словцомъ. Я, въ свою очередь потаскиваю отъ него фразы, и оба не въ накладѣ. Что за дѣлежъ между пріятелями, прибавилъ онъ съ злою улыбкою. Слова *твое и мое* должны быть изгнаны изъ дружбы!

— Въ самомъ дѣлѣ, капитанъ? Въ самомъ ли дѣлѣ вы такъ думаете? Довольны ли будутъ друзья ваши подобною сдѣлкою?

— Если нѣтъ — тѣмъ хуже для нихъ.

— Я бы желала, чтобъ княгиня Софья слышала ваше мнѣніе!

И она, гордо вздернувъ носикъ, подала руку тому, кто спросилъ ее: какое угодно вамъ будетъ выбрать для себя качество вмѣсто имени?

— *Недѣлимость!* сказала она, бросивъ значительный взглядъ на Зиѣева.

— Эге, душенька, подумалъ Зиѣевъ ... да это никакъ зачатки ревности, ну такъ будетъ прокъ! *Недѣлимость*! гх ... хорошо, я добрый малой, г-жа Недѣлимая, я пожалуй возьму васъ себѣ цѣлкомъ, не выдѣляя ни одной частички ни вашему благовѣрному супругу, ни моему легковѣрному другу. Недѣлимая! .. Это и затѣйливо и оригинально, жаль только, что не совсѣмъ справедливо. Да впрочемъ, гдѣ теперь найдешь справедливость! Называетъ же князь Борисъ жену своею любезною половиною, а въ ней не принадлежитъ ему и сотой доли!

Надина воротилась на свое мѣсто, но не удостоила разговоромъ Зиѣева: она, какъ говорится, на него дулась.

Кавалеръ ея подалъ знакъ жизни нѣсколькими словами, однако подобно тающему въ зимній Петербургскій полдень жолобу, журчаніе его замолкло въ минуту.

Какая то невѣдомая грусть отяготѣла надъ Надиною: она сидѣла безмолвно, склоня голову; взоры ея упали долу. Мечтала ли она о томъ, кто далеко, или хотѣла заставить мечтать того, кто близко? Было ли то глубокое чувство разлуки, доступное душѣ самой свѣтской женщины, или только игра кокетства, траурный

нарядъ, дающій такую неотразимую прелесть лицу. Китайское опахало ея скользнуло изъ невольно распущенной ручки и давно было поднято Зиѣевымъ. Два раза подводили ей на выборъ кавалеровъ, и два раза миновали ея съ лукавою улыбкою... казалось, она никого не видала, ничего не слышала. О какъ очаровательны бываютъ женщины въ минуты такой невольной, грустной разсѣянности, такого уединенія посреди блеску и шуму свѣта! Хочется тогда подкрасться къ нимъ на цыпочкахъ, и на колѣнахъ прислушаться къ ихъ дыханію, къ бою сердецъ! . . . разгадать тайную думу по летучему румянцу щекъ, по содроганію рѣсницъ и губокъ предугадать въ ней приговоръ собственной судьбы.

Что-то юношеское, что-то бывалое встрепенулось въ груди Зиѣева. Ему показалось, будто онъ чувствуетъ, что недавно сказалъ онъ, и всего страннѣе, онъ этому повѣрилъ. онъ, который не вѣрилъ даже въ себѣ ничему хорошему. Не на долго, однакожъ природа поборола привычку.

—Любить, мнѣ и не шути любить? да это достойно будетъ тѣхъ блаженныхъ временъ, когда любезники изъяснялись пѣснею: « я не скажу тебѣ люблю, всеобщей модѣ подражая! « временъ, когда еще велась подстольная страсть

саногов къ башмакамъ! Женщины — существа шаткія по природѣ и тщеславныя по воспитанію: вотъ двѣ дороги къ обладанію ими. Но такъ какъ имъ пріятнѣе обманывать, чѣмъ обманываться, что я за глупецъ подлаваться, когда могу распоряжать? Пушкинъ не дарожъ сказалъ:

Чѣмъ меньше женщину мы любимъ,
Тѣмъ больше нравимся мы ей.

А я хочу нравиться и понравиться Надинѣ, во что бы ни стало. Какъ ни бойка она, какъ ни начитана разсказовъ своихъ многоопытныхъ подругъ, которыхъ не надуешь вздохами, да слезами на розовой водѣ или объясненіями на розовой бумажкѣ, со всѣмъ тѣмъ сердце у двадцатилѣтней женщины навѣрно мягче головы . . . *несгораемыхъ* и билъ картечью остроумія, эту надо зажечь калеными ядрами чувства.

И яркіе глаза его впились въ Надину. Я увѣренъ, что женщины чувствуютъ даже во снѣ, не только въ задумчивости, струю взора наэлектризованнаго страстію.

Надина вздрогнула прежде чѣмъ Зябинъ произнесъ нѣчто, уходя онъ, почтительно поднявъ вверхъ — ни его уронили!

— Благодарю васъ. Но скажите правду хоть одинъ разъ въ жизни, вы вѣрно смѣялись про себя моей неумѣстной задумчивости?

—Задумчивости? скажите, какой я не догад-

ливый: я вѣдь думалъ, что благодаря нашему любезному сосѣдству, вы просто дремали, а я очень уважаю крѣпкій сонъ, признакъ чистой совѣсти. Нѣтъ, Надежда Петровна, я былъ далекъ отъ насмѣшекъ, глядя на васъ. Я напротивъ горько жалѣлъ, что не живописецъ. Будь я Брюлловъ или Кипренскій, я бы написалъ съ васъ спящую Душеньку на диво всѣму свѣту. Да вы спите съ открытыми глазами до сихъ поръ, и я увѣренъ, что всѣ мы кружимся и проходимъ передъ вами какъ сны!

— Что же вся жизнь наша, что люди, въ особенности что такое мы мущины, какъ не обманчивые сны? сказала со вздохомъ Надина.

— А вѣрите ли вы снамъ, сударыня?

— Вѣрю, когда они не льстятъ мнѣ.

— Такъ я очень радъ, что мой сонъ не похожъ на льстивый сонъ, сударыня! Вглядитесь въ меня хорошенько, и сознайтесь, что я сегодня грозенъ и мраченъ, какъ самый страшный, самый зловѣщій сонъ полночнаго царства. И этотъ сонъ вѣщуетъ бѣду вашему сердцу, сударыня, и въ этотъ разъ я не шучу, сударыня!

Надина пристально посмотрѣла на Змѣева, но лице Змѣева въ самомъ дѣлѣ выражало какое то печальное чувство, какое то искреннее участіе. Она отворотилась, какъ будто могильный вѣтеръ дунулъ на нее.

— О я не люблю злонѣщихъ сновъ, сказала она, и стараюсь забыть ихъ, если вижу.

— Прежде чѣмъ забыть, надо разгадать ихъ; а прежде чѣмъ разгадать, надо ихъ узнать. Впрочемъ грѣхъ бросать черныя тѣни на яркую картину бала. Сните сномъ счастія, сударыня. Самыя запоздалыя, худыя вѣсти приходятъ всегда слишкомъ рано.

Любопытство Надины затронуто было за живое. Опасенія ея проснулись... она знала, что Радовъ очень друженъ съ Змѣевымъ, что они живутъ вмѣстѣ... двойная мысль, не сталось ли чего нибудь съ Платономъ, и не разсказалъ ли онъ чего нибудь своему товарищу, какъ двойное жало змѣи кольнуло ее въ сердце. Но ей не хотѣлось выказать этого, а Змѣевъ, рано уклонившись отъ предмета, ускользалъ изъ рукъ побочнаго вопроса.

Положивъ слѣдокъ на слѣдокъ, онъ хладнокровно поигрывалъ ключикомъ часовъ, и отрывчатыми фразами отвѣчалъ на слова Надины.

— Вы спрашиваете, какъ мнѣ нравится туалетъ княгини Полинской. Очень блистателенъ! жаль только, что онъ измятъ еще при Варшавскомъ приступѣ. За то нарядъ генеральши Кнокетъ, безъ метафоры, свѣжѣе весны — въ Якутскѣ. Никто не скажетъ, чтобы на ней ма-

лѣйшее украшеніе, кромѣ ея улыбки, пережило два бала. Но ея вѣчная улыбка!.. Боже мой, скоро ли она износитъ эту улыбку!..

— Скажите ей это на ухо, и будьте увѣрены, что она по крайнѣй мѣрѣ на четверть часа забудетъ усмѣхаться. Но оставимъте дамъ въ покоѣ. Не правда ли, что кавалеръ, съ которымъ я сей часъ танцовала, былъ бы...

— Плѣнителенъ, еслибъ его создала природа, а не портной, хотите вы сказать... я съ вами согласенъ. Въ Англіи хотятъ воздвигнуть монументъ механику Ватту; у насъ слѣдовало бы воздвигнуть памятникъ ватѣ. . . . .

. . . . . .

КОНЕЦЪ ДВѢНАДЦАТОЙ ЧАСТИ.

ОГЛАВЛЕНІЕ

ДВѢНАДЦАТОЙ ЧАСТИ.

Стран.

Исторія серебренаго рубля 5
Исторія знаковъ препинанія..... 15
Листокъ изъ дневника гвардейскаго офицера..... 23
Еще листокъ изъ дневника 33
Медеонъ 43
О деревянномъ строеніи въ Россіи..... 61
Новый Русскій языкъ..... 73
Переходъ Никитинъ..... 79
Нѣсколько отрывковъ изъ романа: Вадимовъ ....
Осада..... 149
Выстрѣлъ 181
Журналъ Вадимова 201
Свиданіе 215
Поволжскіе разбойники (отрывокъ) 235
Слѣдствіе вечера на Кавказскихъ водахъ..... 249
Гулла-Нуръ (заключеніе) 269
Месть (отрывокъ)... 295

Алфавитный указатель.

А.

	Часть.	Стр.
Аммалат Бек	V.	5.

Б.

Будочникъ-ораторъ	IV.	240.

В.

Вечеръ на Кавказскихъ водахъ	VIII.	5.
Вечера на Кавказскихъ водахъ (слѣдствіе)	XII.	251.
Вечеръ на бивуакѣ	VIII.	159.
Вечеръ (второй) на бивуакѣ	VIII.	179.
Взглядъ на Русскую Словесность. 1823 года	XI.	165.
Взглядъ на Русскую Словесность. 1824 года	XI.	181.
Взглядъ на старую и новую Словесность въ Россіи	XI.	205.
Военный Антикварій	IV.	205.
Выстрѣлъ (отр. изъ романа Вадимовъ).	XII.	151.

	Часть.	Стр.
Г.		
Гедеонъ Б.	XII.	43.
Ж.		
Журналъ Вадимова (отрывокъ)	XII.	201.
З.		
Замокъ Вендель	IV.	97.
Замокъ Нейгаузенъ	III.	161.
Замокъ Эйзенъ	I.	131.
И.		
Изгѣдникъ	VIII.	117.
Испытаніе	I.	3.
Исторія серебрянаго рубля	XII.	7.
Исторія знаковъ препинанія	XII.	17.
К.		
Кавказская стѣна	VIII.	227.
Красное покрывало	II.	171.
Л.		
Латникъ	IV.	3.
Лейтенантъ Бѣлозоръ	III.	3.
Листокъ изъ дневника гвард. офицера	XII.	26.
Листокъ (еще) изъ дневника	XII.	35.
М.		
Месть	XII.	295.
Мореходъ Никитинъ	XII.	81.
Мулла Нуръ	IX.	5.
Мулла Нуръ (заключеніе)	XII.	272.
Н.		
Наѣзды	II.	3.

	Часть.	Стр.
Новый Русскій языкъ	XII.	75.
Ночь на кораблѣ	I.	167.

О.

Объявленіе отъ общества приспособленія точныхъ наукъ къ Словесности ...	VIII.	203.
Онъ былъ убитъ	X.	221.
О деревянномъ строеніи въ Россіи.....	XII.	63.
Отрывки изъ разсказовъ о Сибири.....	I.	191.
О романѣ И. Полеваго: Клятва при гробѣ Господнемъ	XI.	245.
Осада (отрывокъ изъ ром. Вадимовъ)..	XII.	149.

П.

Письмо къ доктору Эрману.....	III.	219.
Письма изъ Дагестана.....	VI.	127.
Подвиги Овечкина и Щербины.....	VI.	245.
Поѣздка въ Ревель..	VI.	5.
Поволжскіе разбойники (отрывокъ)....	XII.	237.
Примѣчаніе къ повѣсти Аммалатъ Бекъ.	V.	257.
Прощаніе съ Кавіемъ.....	X.	95.
Путь до города Кубы.....	X.	109.

Р.

Разсказъ офицера бывшаго въ плѣну у Горцевъ.....	X.	5.
Ревельской турниръ	IV.	115.
Рекомендательное письмо.....	VIII.	217.
Романъ въ семи письмахъ.....	IV.	185.
Романъ и Ольга	VII.	229.

С.

Сибирскія нравы, Нравы	IV.	263.
Свиданіе, (отрывокъ изъ ром. Вадимовъ)	XII.	215.

	Часть.	Стр.
Стихотворенія	XI.	5.
Страшное гаданье	II.	191.

Ф.

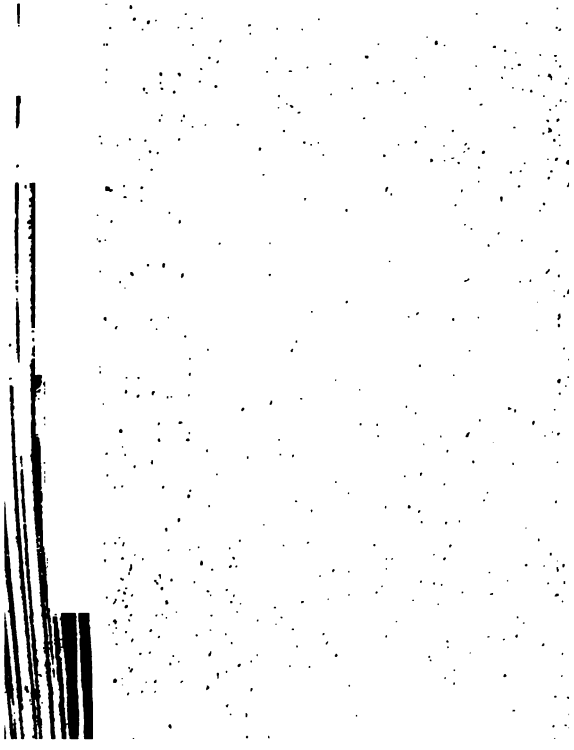
Фрегатъ Надежда	VII.	5.

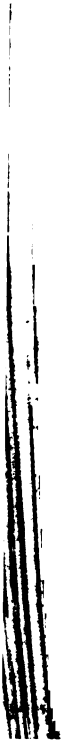
Ч.

Часы и зеркало	IV.	231.

Ш.

Шахъ Гуссейнъ	I.	233.





TE [

IIVEI
), C
943(